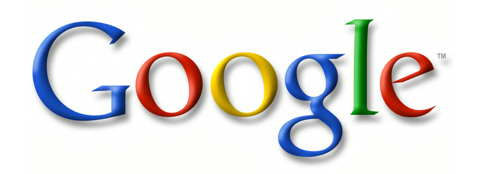
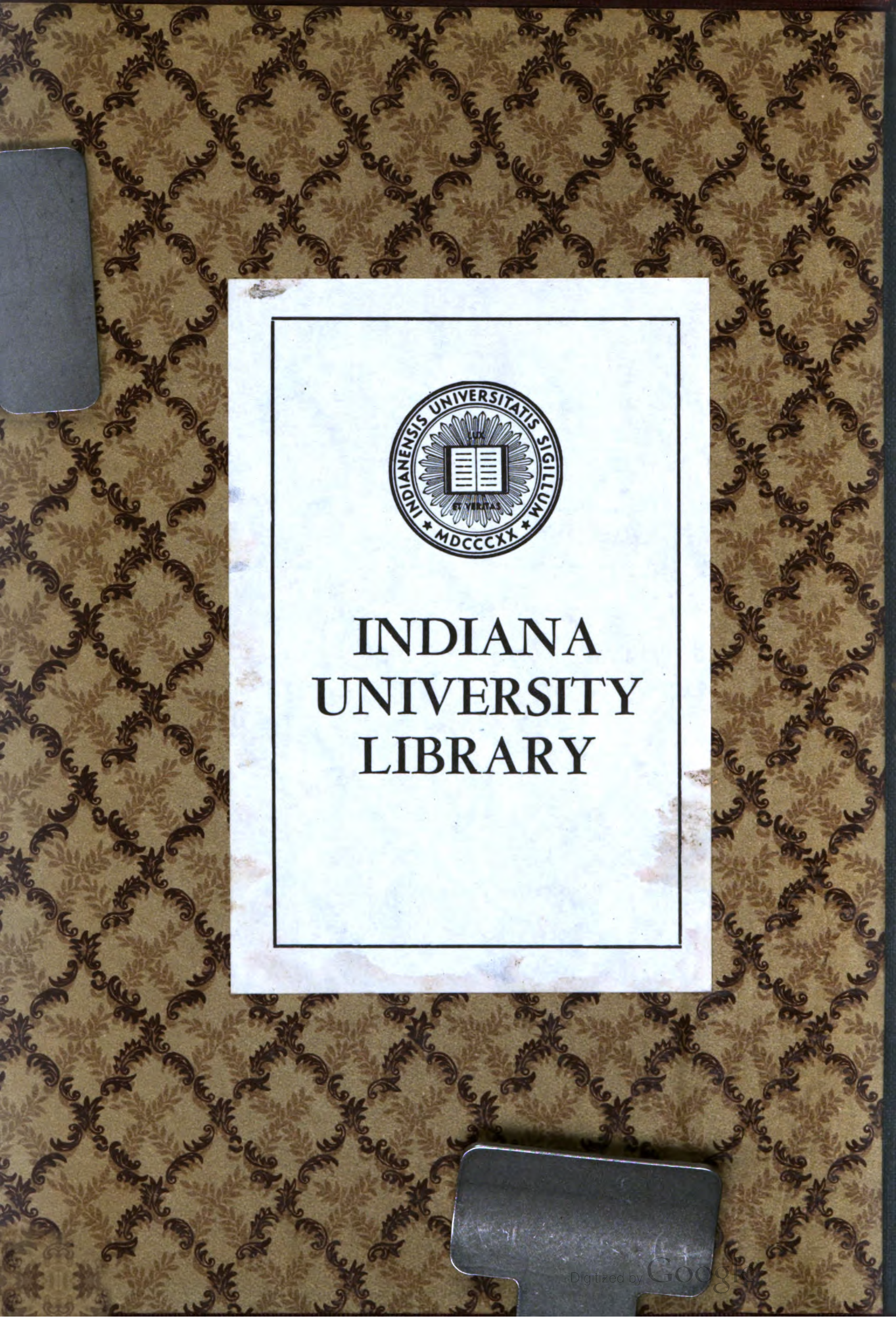


В. ВЕРЕСАЕВ


INDIANENSIS UNIVERSITATIS SIGILLUM
LUX
ET VERITAS
MDCCCXX
INDIANA
UNIVERSITY
LIBRARY




ИЗДАТЕЛЬСТВО
НЕДРА

V V Smidovich

В. В. ВЕРЕСАЕВ

Polnoe sobranie

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

т. I

v. 1

NK

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
„НЕДРА“
МОСКВА — 1928

В. ВЕРЕСАЕВ

БЕЗ ДОРОГИ

РАССКАЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
„НЕДРА“
МОСКВА — 1928

ОБЛОЖКА РАБОТЫ
ХУДОЖНИКА
В. СВИРСКОГО

Москва. Главлит А 8414. 5000 экз.

«Мосполиграф», 16-я типография, Трехпрудный, 9.



В 1893 г.

ВИКЕНТИЙ ВИКЕНТЬЕВИЧ СМИДОВИЧ
В. ВЕРЕСАЕВ

(автобиографическая справка)

Я родился в Туле, 4/16 января 1867 года. Отец мой был поляк, мать—русская. Кровь во мне вообще в достаточной мере смешанная: мать отца была немка, дед моей матери был миргородский хохол, его жена, моя прабабка—гречанка. Род Смидовичей—польский дворянский род. Дед мой, Игнатий Михайлович, принимал участие в польском восстании 1830—31 г., имение его было конфисковано. Умер он в бедности, оставив большую семью без средств.

Отец мой был врач. Он пользовался в Туле большою популярностью как врач и общественный деятель. Был он человек широко и разносторонне образованный, особенно в области естественных наук, истории, философии и богословия. У него была своя домашняя химическая и бактериологическая лаборатория, ценная минералогическая коллекция; из года в год он аккуратно вел метеорологические наблюдения, много работал по статистике (есть ряд печатных работ). При других условиях, думаю, из него вышел бы незаурядный ученый. Единственная область, к которой он всегда относился с полнейшим равнодушием, было искусство и, в частности, изящная литература. Он, напр., серьезнейшим образом ставил исторические романы Шардина выше «Войны и Мира». В молодости отец был материалистом, но с тех пор, как я его помню, был человеком верующим, глубоко-религиозным. Очень религиозна была и мать.

Семья наша была большая (8 человек детей, с умершими в детстве—11, я—второй по счету) и очень «удачная». Отношение к детям было мягкое и любовное, наказаний мы почти не знали. Воспитывались в строго-религиозном, православном духе, постились сплошь все посты и каждую среду и пятницу. Жили очень

замкнуто, в гости ходили редко, только на святках и на Пасхе. У отца был свой дом на Верхне-Дворянской улице, и при нем большой сад. Этот сад был для нас огромным, разнообразным миром, с ним у меня связаны самые светлые и поэтические впечатления детства. Летом мы жили в деревне у дяди-помещика.

Когда мне было лет четырнадцать, отец купил небольшое имение под Лаптевом, верстах в тридцати от Тулы. Лето я проводил там, помогал матери в хозяйстве; целыми днями работал вместе с рабочими: косил, возил сено и снопы, пахал, ел с рабочими и спал. Года через четыре имение было продано.

Учился я в тульской классической гимназии. Способности у меня были хорошие, память редкостная. Учение давалось легко, и учился я старательно. Был гимназистом типа «первых учеников», очень старался, чтобы при переходе из класса в класс получить награду первой степени. Труднее всего давалась математика, к которой всегда чувствовал отвращение; больше всего преуспевал в древних языках.

В младших классах гимназии зачитывался Майн-Ридом и Густавом Эмаром. Не мог понять, как нравится Робинзон. С шестого класса начал читать Добролюбова, Милля, Бокля, позднее—Писарева, чему отец очень не сочувствовал. Начался религиозный перелом, давшийся мне очень тяжело. Много было споров с отцом, получился ряд конфликтов с родителями из-за отказа моего ходить в церковь. К гимназическим успехам охладел, предпочитал читать для себя; но учение по инерции шло хорошо, и кончил я курс с серебряною медалью.

13—14 лет начал писать стихи. Много переводил из Кернера и Гейне. Любимыми поэтами были Лермонтов и Алексей Толстой; Пушкина «презирал». Прозаиком любимым был Гоголь, позже—Тургенев.

Кончил гимназию в 1884 году, 17-ти лет, и поступил в петербургский университет, на историко-филологический факультет; шел по историческому отделению. С теплым чувством вспоминаю проф. А. В. Прахова, со страстью и блеском читавшего историю греческого искусства, и проф. В. Г. Васильевского, известного византиста, читавшего среднюю историю; читал он тихо и монотонно, не ослеплял широкими картинами и обобщениями, которые приходилось бы брать на веру; но умел заставить слушателей самостоятельно думать и разбираться в исторических данных. С увлечением еще слушал приват-доцента В. И. Семевского, начавшего читать курс русской истории восемнадцатого века; но он вскоре был удален из университета за неблагонадежность. Философию и психологию читал пресловутый М. И. Владиславлев,

карьерист и тупой человек. На кафедре русской истории известного К. Н. Бестужева-Рюмина сменил бездарнейший Е. Е. Замысловский (отец одного из лидеров думских черносотенцев Е. Е. Замысловского). Мольеровски-карикатурную фигуру представлял из себя профессор древней истории Ф. Ф. Соколов, которого в истории интересовали только факты сами по себе и особенно хронология. Его изобразил Мережковский в своей поэме «Вера»: взошел на кафедру старик с пергаментным лицом—

И зашептал уныло числа, числа, числа.
История без образов, без лиц,
Ряды хронологических таблиц...

Университетской наукой я занимался без любви, усердно посещал только Васильевского и Прахова. На экзамены шел, часто не зная экзаменатора в лицо. Но деятельно и с увлечением участвовал в разнообразнейших студенческих кружках, лихорадочно жил в напряженной атмосфере самых острых общественных, экономических и этических вопросов. Революционное народничество в это время шло уже сильно на убыль. Начинало распространяться толстовство, культ Платона Каратаева; усердно читались «Основы народничества» Юзова, статьи о русских сектантах. Во мне лично такое народничество симпатий не возбуждало; веры в народ не было. Было только сознание огромной вины перед ним и стыд за свое привилегированное положение. Но путей не виделось. Борьба представлялась величественною, привлекательною, но трагически-бесплодною борьбою гаршинского безумца против «Красного Цветка». Сильное впечатление производила поэма Минского «Гефсиманская ночь», запрещенная цензурою и ходившая в бесчисленных списках. Христу в Гефсиманском саду является искуситель и доказывает полнейшую ненужность его подвига, развертывает перед ним картины будущего,—костры инквизиции, злодейства пап и т. д. Теряющего веру в свой подвиг Христа поддерживает ангел, который поет ему о «счастьи жертвы»:

Кто крест однажды будет несть,
Тот распинаем будет вечно.
Но если счастье в жертве есть,—
Он будет счастлив бесконечно...
Какое дело до себя,
И до других, и до вселенной
Тому, кто следовал, любя,
Куда звал голос сокровенный?
Но кто, боясь за ним идти,
Себя раздумием тревожит,
Пусть бросит крест среди пути,
Пусть ищет счастья, если может!

Не нужно раздумывать над тем, будет ли польза от жертвы. Высшее счастье в жертве, как таковой. Великое требовалось разуверение, чтобы прийти к культу такой жертвы.

Любимыми моими писателями-художниками в это время были Глеб Успенский и Гаршин (а рядом с ними—вот подите-же,—Гете). Из публицистов особенно дорог и любим был Н. К. Михайловский,—не за пути, которые бы он указывал (чувствовалось, что их и у него нет), а за страстные призывы не забывать «великих задач», за борьбу его с общественным равнодушием, с проповедью «малых дел» и толстовского «неделания».

В 1888 году я окончил курс кандидатом исторических наук. Кандидатская диссертация: «Известия Татищева, относящиеся к XIV веку». В том же 1888 году осенью поступил в Дерпт на медицинский факультет. Почему на медицинский? Главная причина: уже в то время моею мечтою было стать писателем; а для этого представлялось необходимым знание биологической стороны человека, его физиологии и патологии; кроме того, специальность врача давала возможность близко сходиться с людьми самых разнообразных слоев и укладов; для меня это было особенно нужно, так как характер у меня замкнутый, схожусь с людьми трудно. В Дерпт попал я случайно: в петербургскую медицинскую академию почему-то не был принят; когда узнал об отказе, в московском университете прием на медицинский факультет был уже прекращен; а в Дерпте университет в то время был еще немецкий и блистал крупными научными именами.

В тихом Дерпте я пробыл шесть лет и усердно занимался наукою. В 1892 году, студентом, ездил на холерную эпидемию в Екатеринославскую губернию и самостоятельно заведывал бараком на Вознесенском руднике П. А. Карпова, недалеко от Юзовки. Отношения с шахтерами были у меня прекрасные, доверием я пользовался полным. В сентябре холера кончилась, я собрался уезжать. Вдруг на Покров, 1 октября, рано утром, ко мне прибежал мой санитар, Степан Бараненко, взятый мною из шахтеров,—растерзанный, окровавленный. Он сообщил, что пьяные шахтеры избили его за то, что он «связался с докторами», и что они толпою идут сюда, чтобы убить меня. Бежать было некуда. С полчаса мы сидели со Степаном в ожидании толпы. Много за это время передумалось горького и тяжелого. Шахтеры не пришли: они задержались по дороге во встречном шинке и забыли о нас.

На старших курсах я работал в лаборатории терапевтической клиники, напечатал две рабты: «К упрощению количественного определения мочевой кислоты по Гайкрафту» и «К вопросу о влия-

нии воды Вильдунген на обмен веществ» («Медицина», 1893, №№ 17 и 27—28).

В течение всего моего студенчества, как петербургского, так и дерптского, продолжал усердно писать,—вначале стихи, позже рассказы и повести. Первым моим печатным произведением было стихотворение «Раздумье», помещенное в одном из ноябрьских номеров «Модного Света» Германа Гоппе. Ряд очерков и рассказов был напечатан во «Всемирной Иллюстрации» и «Книжках Недели» П. А. Гайдебурова.

В Дерпте кончил курс врачом в 1894 году. Несколько месяцев практиковал в Туле под руководством отца, потом уехал в Петербург и поступил сверхштатным ординатором в Барачную больницу в память Боткина для острозаразных больных. В ноябре того же года умер отец. Семья осталась с очень ограниченными средствами; на собственных ногах стоял только старший брат, горный инженер, остальные все еще только учились. Время наступило для меня тяжелое. Приходилось порядком нуждаться, место в больнице было бесплатное. Тяжело было и сознание полной своей врачебной неподготовленности; ужас брал,—какими неумелыми и практически-неопытными выпускает нас в жизнь врачебная школа.

Осенью я окончил большую повесть «Без дороги» и послал ее в «Русскую Мысль» В. М. Лаврова. Месяц шел за месяцем,—ответа не было. Наконец, в декабре я получил от редакции краткое извещение: «повесть ваша не может быть напечатана в нашем журнале». Отчаяние меня взяло, мне казалось,—вещь у меня получилась значительная и серьезная, а она даже вовсе не годна к печати. По настоянию одного близкого мне лица, я сделал еще попытку,—отправил повесть в журнал «Русское Богатство», выходивший под редакцией Н. К. Михайловского и В. Г. Короленка. Там повесть была принята очень охотно, мне было предложено постоянное сотрудничество, я получил приглашение бывать на собраниях сотрудников. В осенних номерах «Русского Богатства» за 1895 год повесть была напечатана. Критика встретила ее весьма сочувственно. Один из самых лестных отзывов появился в «Русской Мысли».

Общественное настроение было теперь совсем другое, чем в 80-х годах. Пришли новые люди, бодрые и верящие. Отказавшись от надежд на крестьянство, они указывали на быстро растущую и организующуюся силу в виде фабричного рабочего, приветствовали капитализм, создающий условия для развития этой новой силы. Кипела подпольная работа, шла широкая агитация на заводах и фабриках, велись кружковые занятия с рабочими, яро деба-

тировались вопросы тактики. Теперь дикою и непонятною показалась бы проповедь «счастья в жертве»; счастье было в борьбе,— в борьбе за то, во что верилось крепко, чему не были страшны никакие «сомненья» и «раздумия». Летом 1896 года вспыхнула знаменитая июньская стачка петербургских ткачей, всех поразившая своею многочисленностью, выдержанностью и организованностью. Многих, кого не убеждала теория, убедила она,—меня в том числе. Почуялась огромная, прочная, новая сила, уверенно выступающая на арену русской истории. Я примкнул к литературному кружку марксистов (Струве, Туган-Барановский, Калмыкова, Богучарский, Неведомский, Маслов и др.). Находился в близких и разнообразных сношениях с рабочими и революционной молодежью.

В апреле 1901 года, по предписанию градоначальника, я был уволен из больницы, а вслед за тем выслан из Петербурга. Два года прожил в родной Туле. Когда срок высылки кончился, переселился в Москву. Началась война с Японией. В июне 1904 года, как врач запаса, был призван на военную службу. Попал младшим ординатором в полевой подвижной госпиталь. В сентябре месяце прибыли мы в Мукден, как раз к началу боя при Шахе. Участвовал в этом бою и в великом мукденском в феврале 1905 г. С войны воротился в начале 1906 г.

С тех пор постоянное мое жительство—Москва. Несколько раз был за границей, побывал в Германии, Франции, Австрии, Италии, Швейцарии, Греции и Египте.

За последние годы отношение мое к жизни и задачам искусства значительно изменились. Ни от чего в прошлом я не отказываюсь, но думаю, что можно было быть значительно менее односторонним. Лет двенадцать назад одна умная и чуткая женщина подарила мне книжку с такою надписью (из Ал. Толстого):

Есть много звуков в сердца глубине,
Неясных дум, непетых песен много.

Тогда я на это только пожал плечами. Теперь думаю, что в таком указании было много верного, и что незачем было подавлять эти думы и песни.

В настоящее время увлекаюсь эллинством. Заканчиваю большую работу об Аполлоне и Дионисе, перевел стихами всего Архилоха и всю Сафо; работаю над переводом гомеровых гимнов.

Москва. 1913 г., 8 апр.

Русская Литература XX века. Под редакцией С. А. Венгерова. Изд. т-ва «Мир». Москва. Том 1, вып. II.

В самом начале всемирной войны был снова мобилизован, некоторое время пробыл полковым врачом в гор. Коломне, потом заведывал в Москве одним из военно-санитарных дезинфекционных отрядов московского железно-дорожного узла. В 1917 г. был председателем Художественно-Просветительной комиссии при Московском Совете Рабочих Депутатов. В сентябре 1918 г. на три месяца поехал в Крым и прожил там три года,—под Феодосией, в поселке Коктебель, где у меня была небольшая дачка. За это время Крым несколько раз переходил из рук в руки, пришлось пережить много тяжелого; шесть раз был ограблен; больной испанкою, с температурою в 40 градусов, полчаса лежал под револьвером пьяного красноармейца, через два дня расстрелянного; арестовывался белыми; болел цынгою. В 1921 году воротился в Москву, где живу и теперь.

Москва. 1924 г., 12 марта.

Писатели. Автобиографии современников. Кн-во «Современные проблемы». Москва. 1926.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА

1867 г., 4/16 января.	Родился в г. Туле.
1875 г., август.	Поступил в приготовительный класс Тульской классической гимназии.
1881 г., январь.	Написал первое стихотворение.
1884 г., май.	Окончил курс гимназии.
1884 г., август.	Поступил на историко-филологический факультет СПБ. университета.
1885 г., 23 ноября (5 декабря).	Напечатано первое стихотворение „Раздумье", под псевдонимом В. Викентьев, в журнале „Модный Свет", 1885, № 44.
1887 г., май.	Напечатан первый рассказ „Мерзкий мальчишка"—„Всемирная Иллюстрация", 1887 г., № 959.
1888 г., май.	Окончил Петербургский университет со степенью кандидата исторических наук.
1888 г., сентябрь.	Поступил на медицинский факультет Дерптского (Юрьевского) университета.
1892 г., август—сентябрь.	Ездил на холерную эпидемию в Екатеринославскую губ., где недалеко от Юзовки на каменноугольном руднике заведывал холерным бараком.
1894 г., май.	Окончил в Дерпте курс врачом.
1892—1894 г.	Писал повесть „Без дороги".
1894 г., сентябрь.	Поступил сверхштатным ординатором в Барачную в память Боткина больницу в Петербурге.
1894 г., 15/27 ноября.	Умер отец, д-р Викентий Игнатьевич Смидович, заразившись сыпным тифом от больного.
1895 г., август.	В „Русском Богатстве" напечатана повесть „Без дороги".

1896 г.	После летней стачки ткачей в Петербурге примкнул к литературному кружку марксистов; стал печататься в марксистских журналах „Новое Слово"—1897 г., „Жизнь"—1899 г., „Начало"—1899 г., „Мир Божий".
1897 г., 29 июля.	Женился на троюродной сестре, Марии Гермогеновне Смидович.
1892—1900 г.г.	Писались „Записки врача".
1901 г., апрель,	По распоряжению СПБ. градоначальника Клейгельса уволен из барачной больницы; постановлением министра внутренних дел запрещено в течение двух лет проживание в столичных городах.
1901—1903 г.г.	Жил в Туле. В апреле—мае 1902 г. ездил за границу (Германия, Италия, Швейцария, Франция); весной 1903 г.—в Крым.
1903 г., август.	Поселился в Москве.
1904 г., июнь.	Мобилизован в качестве военного врача и вызван в Тамбов, где назначен младшим ординатором в 38-й пол. под. госпиталь при 72-й дивизии 6-го сиб. корп.
1904 г., август.	Выезд из Тамбова с 72-й дивизией на Дальний Восток.
1904 г., сентябрь.	Приезд в Мукден, бой на реке Шахэ.
1904 г., сентябрь. 1905 г., февраль.	Великое стояние под Мукденом.
1905 г., февраль.	Мукденский бой.
1905 г., март—декабрь.	Стоянки в Манчжурии.
1906 г., нач. января.	Возвратился с войны, поселился в Москве.
1906—1908 г.г.	Сотрудничал в сборниках „Знание".
1907 г., апрель—май.	Ездил за границу (Австрия, Италия).
1909—1910 г.г., октябрь—март.	Жил в Египте, в Гелуане, около Каира; на обратном пути заезжал в Грецию.
1911—1918 г.г.	Стоял во главе „Книгоиздательства Писателей в Москве". Издательство возникло по инициативе В. В. Вересаева. Редактировал в издательстве сборники „Слово".
1912 г., 29 января (11 февраля).	Умерла мать, Елизавета Павловна Смидович.

1913 г.	Полное собрание сочинений, изд. А. Ф. Маркса в 4-х томах, СПБ. (приложение к журналу „Нива“).
1914 г., август.	Мобилизован в качестве военного врача.
1914—1917 г.г.	Заведывал военно-санитарным дезинфекционным отрядом московского железнодорожного узла.
1917 г., апрель—октябрь	Председатель художественно - просветительной комиссии при Сов. Рабоч. Депутатов в Москве.
1918 г., октябрь.	Уехал в Крым, в Коктебель, где прожил три года на своей дачке.
1919 г., апрель—май.	Член коллегии наробраза в Феодосии.
1921 г., октябрь.	Возвратился в Москву.
1920—1923 г.г.	Писался роман „В тупике“.
С 1922 г.	Состоит консультантом в изд. „Недра“.

ЗАГАДКА

Я ушел далеко за город. В широкой котловине тускло светились огни города, оттуда доносился смутный шум, грохот дрожек и обрывки музыки; был праздник, над окутанным пылью городом взвивались ракеты и римские свечи. А кругом была тишина. По краям дороги, за развесистыми ветлами, волновалась рожь, и тихо трещали перепела; звезды теплились в голубом небе.

Ровная, накатанная дорога, мягко серея в муравке, бежала в даль. Я шел в эту темную даль, и меня все полнее охватывала тишина. Теплый ветер слабо дул навстречу и шуршал в волосах; в нем слышался запах зреющей ржи и еще чего-то, что трудно было определить, но что всем существом своим говорило о ночи, о лете, о беспредельном просторе полей.

Все больше мною овладевало странное, но уже давно мне знакомое чувство какой-то тоскливой неудовлетворенности. Эта ночь была удивительно хороша. Мне хотелось насладиться, упиться ею досыта. Но по опыту я знал, что она только измучит меня, что я могу пробродить здесь до самого утра и все-таки ворочусь домой недовольный и печальный.

Почему? Я сам не понимаю... Я не могу иначе, как с улыбкою, относиться к одухотворению природы поэтами и старыми философами. Для меня природа, как целое, мертва.

В ней нет души, в ней нет свободы...

Но в такие ночи, как эта, мой разум замолкает, и мне начинает казаться, что у природы есть своя единая жизнь, тайная и неуловимая;

то за изменяющимися звуками и красками стоит какая-то вечная, неизменная и до отчаяния непонятная красота. Я чувствую,—эта красота недоступна мне, я неспособен воспринять ее во всей целости; и то немногое, что она мне дает, заставляет только мучиться по остальному.

Никогда еще это настроение не овладевало мною так сильно, как теперь.

Огни города давно скрылись. Кругом лежали поля. Справа, над светлым морем ржи, темнел вековой сад барской усадьбы. Ночная тишина была полна жизнью и неясными звуками. Над рожью слышалось как-будто чье-то широкое, сдержанное дыхание; в темной дали чудились то песня, то всплеск воды, то слабый стон; крикнула ли это в небе спугнутая с гнезда цапля, пискнула ли жаба в соседнем болоте,—бог весть... Теплый воздух тихо струился, звезды мигали, как живые. Все дышало глубоким спокойствием и самоудовлетворением, каждый колебавшийся колос, каждый звук как-будто чувствовал себя на месте, и только я один стоял перед этой ночью, одинокий и чуждый всему.

Она жила для себя. Мне было обидно, что ни одной живой души, кроме меня, нет здесь. Но я чувствовал, что ей самой, этой ночи, глубоко безразлично, смотрит ли на нее кто, или нет, и как к ней относится. Не будь здесь, меня и вымри весь земной шар,—и она продолжала бы сиять все тою же красотою, и не было бы ей дела до того, что красота эта пропадает даром, никого не радуя, никого не утешая.

Слабый ветер пронесся с запада, ласково пригнул головки полевых цветов, погнал волны по ржи и зашумел в густых липах сада. Меня потянуло в темную чащу лип и берез. Из людей я там никого не встречу: это — усадьба старухи-помещицы Ярцевой, и с нею живет только ее сын-студент; он застенчив и молчалив, но ему редко приходится сидеть дома; его наперерыв приглашают соседние помещицы и городские дамы. Говорят, он замечательно играет на скрипке, и его московский учитель-профессор сулит ему великую будущность.

Я прошел по меже к саду, перебрался через заросшую крапивою канаву и покосившийся плетень. Под деревьями было темно

и тихо, пахло влажною лесною травою. Небо здесь казалось темнее, а звезды ярче и больше, чем в поле. Вокруг меня с чуть слышным звоном мелькали летучие мыши, и казалось, будто натянутые струны звенят в воздухе. С деревьев что-то тихо сыпалось. В траве, за стволами лип, слышался смутный шорох и движение. И тут везде была какая-то тайная и своя, особая жизнь...

На востоке начинало светлеть, но звезды над ивами плотины блестели попрежнему ярко; внизу, под горою, по широкой глади пруда шел пар; открытая дверь купальни странно поскрипывала в тишине. Однообразно кричал дергач. «Ччи-чи! Ччи-чи!»—спокойно и уверенно звучало в воздухе. Спокойно мерцали звезды, спокойно молчала ночь, и все вокруг дышало тою же уверенною в себе, нетревожною и до страдания загадочною красотою.

Усталый, с накипавшим в душе глухим раздражением, я присел на скамейку. Вдруг где-то недалеко за мною раздались звуки настраиваемой скрипки. Я с удивлением оглянулся: за кустами акаций белел зад небольшого флигеля, и звуки неслись из его раскрытых настежь, неосвещенных окон. Значит, молодой Ярцев дома... Музыкант стал играть. Я поднялся, чтобы уйти: грубым оскорблением окружающему казались мне эти искусственные человеческие звуки.

Я медленно подвигался вперед, осторожно ступая по траве, чтоб не хрустнул сучок, а Ярцев играл...

Странная это была музыка, и сразу чувствовалась импровизация. Но что это была за импровизация! Прошло пять минут, десять, а я стоял не шевелясь и жадно слушал.

Звуки лились робко, неуверенно. Они словно искали чего-то, словно силились выразить что-то, что выразить были не в силах. Не самою мелодией приковывали они к себе внимание,—ее, в строгом смысле, даже и не было,—а именно этим исканием, томлением по чем-то другом, что невольно ждалось впереди.—Сейчас уж будет *настоящее*,—думалось мне. А звуки лились все так-же неуверенно и сдержанно. Изредка мелькнет в них что-то,—не мелодия, лишь обрывок, намек на мелодию,—но до того чудную, что сердце замирало. Вот вот, казалось, схвачена будет тема,—и робкие, ищу-

щие звуки разольются божественно спокойною, торжественною, неземною песнью. Но проходила минута, и струны начинали звенеть сдерживаемыми рыданиями: намек остался непонятым, великая мысль, мелькнувшая на мгновенье, исчезла безвозвратно.

Что это? Неужели нашелся кто-то, кто переживал теперь то же самое, что я? Сомнения быть не могло: перед *ним* эта ночь стояла такою же мучительною и неразрешимою загадкою, как передо мною.

Вдруг раздался резкий, нетерпеливый аккорд, за ним другой, третий,—и бешеные звуки, перебивая друг друга, бурно полились из-под смычка. Как-будто кто-то скованный яростно рванулся, стараясь разорвать цепи.

Это было что-то совсем новое и неожиданное. Однако чувствовалось, что именно нечто подобное и было нужно, что при прежнем нельзя было оставаться, потому что оно слишком измучило своею бесплодностью и безнадежностью... Теперь не слышно было тихих слез, не слышно было отчаяния; силою и дерзким вызывом звучала каждая нота. И что-то продолжало отчаянно бороться, и невозможное начинало казаться возможным; казалось, еще одно усилие,—и крепкие цепи разлетятся вдребезги, и начнется какая-то великая, неравная борьба. Такою повеяло молодостью, такою верою в себя и отвагою, что за исход борьбы не было страшно.—«Пускай нет надежды, мы и самую надежду отвоюем!»—казалось, говорили эти могучие звуки.

Я задерживал дыхание и в восторге слушал. Ночь молчала и тоже прислушивалась,—чутко, удивленно прислушивалась к этому вихрю чуждых ей, страстных, негодующих звуков. Побледневшие звезды мигали реже и неувереннее; густой туман над прудом стоял неподвижно; березы замерли, поникнув плакучими ветвями, и все кругом замерло и притихло. Над всем властно царили несшиеся из флигеля звуки маленького, слабого инструмента, и эти звуки, казалось, гремели над землею, как раскаты грома.

С новым и странным чувством я огляделся вокруг. Та же ночь стояла передо мною в своей прежней загадочной красоте. Но я смотрел на нее уже другими глазами; все окружавшее было для меня

теперь лишь прекрасным, беззвучным аккомпанементом к тем боровшимся, страдавшим звукам.

Теперь все было осмысленно, все было полно глубокой, дух захватывающей, но родной, понятной сердцу красоты. И эта человеческая красота затмила, заслонила собою, не уничтожая, *ту* красоту, попрежнему далекую, попрежнему непонятную и недоступную.

В первый раз я воротился в такую ночь домой счастливым и удовлетворенным.

1887—1895.

ПОРЫВ

I

В тот вечер мы засиделись. По крыше барабанил дождь, сад шумел, где-то наверху, за стеною, быстро и мерно капало. Все снаружи сливалось в смутный шум, и рядом с ним в зале казалось особенно тихо. Самовар потух.

Шура тесно прижималась к маме. Мама гладила ее по голове и грустно говорила:

— Солнцевка наша с каждым годом все меньше дает доходу, земля заложена-перезаложена, нечем даже заплатить проценты в банк. Только и оставалось папе, что поступить на должность. А ехать приходится в Пожарск, за двести верст. Отпуск, бог весть, когда дадут, живи там один-одинешенек... И как ему самому не хочется ехать. Вчера он говорит мне: «уеду я в Пожарск,—когда я опять увижу мою Шурку, ее глазки и ласки?» И в рифму так: «глазки—ласки»...—слабо улыбнулась она.

— Мамочка, да зачем же ехать папе?—быстро и умоляюще возразила Лиза.—Ну, ты говоришь, что мало денег. Так мы можем есть черный хлеб, а не белый. Потом: зачем у нас пирожное? Ведь можно и без пирожного очень хорошо... Все эти деньги и можно копить, и тогда папе совсем не нужно ехать.

— Все это мало поможет... Вот теперь ты в гимназию поступаешь, Мите через три года уж ехать в университет. А там Шура подрастет. На все нужны деньги, деньги... С пирожного тут не много выгадаешь.

Мама задумалась. Старшая сестра Катя шила на машине. Мерный стук колеса одиноко раздавался в зале, не мешаясь с шумом дождя и ветра за окном.

— Да что это он, право, все у себя в кабинете сидит?.. Василий Алексеевич, иди, голубчик, к нам!—позвала мама.—Что это, в самом деле! И так всего неделька осталась, а ты все у себя сидишь за бумагами. Успеешь еще.

Папа кашлянул, поднялся и, разминаясь, вошел в зал... Сухощавое лицо его было устало, глаза, как всегда, смотрели сумрачно и озабоченно.

— Ей-богу, ведь так и не увидишь тебя совсем. Посиди с нами хоть немножко.

— Нужно было там счеты свести за июнь... А дождь-то, слышишь?—все идет и идет!.. Это уж пятый день без перерыва. Совсем сопреет хлеб в поле.

— А что барометр говорит?

— Э, что барометр!—Папа безнадежно махнул рукою, сел на диван и стал закуривать папиросу.—Ну, а ты что, козявка, смотришь?—ласково обратился он к Шуре, тихо щекоча ее.

Шура поежилась и, удерживая его руку, переглянулась с Лизой.

— Папа, а что я тебе скажу!

— Ну, что ж ты мне скажешь?

— Я сказку знаю.

— Сказку? Расскажи, расскажи!

Шура с значительной улыбкою снова взглянула на Лизу. Лиза слабо вспыхнула.

— Меня Лиза научила.

— Вот как? Ну, садись ко мне, рассказывай!

Шура взобралась к папе на колени, глубоко вздохнула, еще раз переглянулась с Лизой и, улыбаясь, поправила на себе передник.

— Ну, раз были три девочки... маленькие. У двух девочек была мама, а еще одна девочка была... Как это? Знаешь, у ней не было мамы. Это называется, когда без мамы девочка... это...

— Ну, сиротка называется.—

— Да, сиротка. Ну, хорошо. Две девочки были нехорошие, а мама их любила...

Шура рассказывала не торопясь, с чуть заметною улыбкою на губах. Зато Лиза сильно волновалась; она не спускала с Шуры пристального взгляда и каждую минуту была готова притти на помощь. Но у Шуры дело шло хорошо.

Папа с тихою улыбкою слушал и играл ключиком от часов.

— Ну, она танцовала, танцовала и нечаянно потеряла туфельку. Царь посмотрел,—чья это туфелька? А Машечка взяла и поскорее уехала домой...

— Шура! Сандрильона!—быстро подсказала Лиза.

— Санди...лё...

Шура помолчала.

— Лиза, можно, я лучше «Машечка» буду говорить? А то так трудно,—«Сирдилё».

— Говори, душечка, как хочешь, это все равно,—поддержал ее папа.—Ну?

— Ну, царь взял туфельку, посмотрел... А туфелька была та-а-ка-я хорошая! Царь взял и говорит: ту девочку, которой как раз... эта девочка моя мама будет.

— Жена, то-есть?—улыбнулся папа.

— Да, да, жена!.. Ну, тогда солдаты по-ошли, по-ошли... Взяли одну девочку, — знаешь, ту, злую? — а ей пальчик не как-раз. Мама ей тихонько сказала: отрежь себе пальчик! Ну, хорошо. Царь приехал, посмотрел,—туфелька как-раз. Вдру-уг...

Лицо Шуры озарилось торжествующей улыбкой, глаза насмешливо сузились.

— Вдруг голубочки летят! Летят, летят, крыльями махают... Все испугались: что такое? А они летят и поют:

> **Царь, царь, посмотри:**
> **Кровь течет на пальчике!**

Царь посмотрел,—да!.. А-а, вот как! Ну, пшол вон!..

Мы расхохотались. Шура замолчала и удивленно оглядела нас: она этого смеха совсем на ждала. Папа схватил ее и стал осыпать поцелуями.

— Ах, ты, Шурка, Шурка!—хохотал он.—«Пшол вон!»—великолепно... Ха-ха-ха!

Вдруг в окно передней раздался снаружи резкий, сильный удар; стекла задребезжали в рамах. Все замолчали и переглянулись. Еще раз ударили, и еще,—все чаще и сильнее.

Папа в недоумении встал.

— Что там такое?

Мы поспешно вышли в переднюю, я раскрыл окно. Влажный, холодный ветер рванулся мне в лицо; в черном мраке не было ничего видно.

— Кто там!?—испуганно крикнул я.

Задыхающийся голос ответил из темноты:

— Я, барин, Алешка с мельницы! Впусти поскорей, позови старого барина!

Мы отперли дверь. Алешка вошел — бледный, растрепанный; он был бос и без шапки, намокшая рубашка липла к телу.

— Помоги, барин! Тонем!

— Как «тонем»?! В чем дело?!

— Хлещет вода через плотину, удержу нет. Городище все залило, под самую мельницу подходит, гляди, сейчас избу снесет... Хозяин к тебе послал, нельзя ли ребят ваших на подмогу... Что только делается!

— Господи ты мой, боже!—Мама в ужасе перекрестилась.

Папа кашлянул и нахмурился, что всегда бывало, когда он волновался.

— Да с чего все это?—спросил он.—Щиты-то вы на плотине подняли?

— То-то, что нет! Да кто ж их знал? Полегоньку прибывала вода,—думали, спустить всегда поспеем: что ее понапрасну перед помолом спускать? А тут вдруг как нахлынула,—сразу на три четверти... И не подступишься к щитам, через них бьет... Говорят, верхнюю мельницу прорвало, богучаровскую.

— Ступай же, Митя, разбуди скорее работников,—обратилась ко мне мама.—Боже ты мой, боже. Вот несчастье-то!

— Да скажи, чтоб багров захватили и веревок,—добавил папа.

Алешка стоял, расставив ноги, и поводил лопатками под мокрою рубахою.

— Ты им, барин, на лошадях прикажи ехать,—сказал он.— Пешком теперь не пройдешь, весь луг залило.

Я выбежал на двор. Ночь была черная-черная. Сад глухо ревел, дождь бешено сек железную крышу дома, ветер шумно проносился в воздухе. Все кругом было необычно и страшно: в бушевавшем холодном мраке крылись стоны, гибель, смерть...

Я вбежал в сарай, где спали работники, ощупью нашел койку моего приятеля Герасима и стал его будить. Он спал, как убитый, я еле растолкал его, долго он не мог ничего понять.

— Да вставай же, Герасим! Наводнение на мельнице,—поскорей!

— На-во-дне-нье?

Герасим, зевая, сел и обеими горстями стал скрести голову.

— Поскорей, Герасим! А то там все потонут, пока вы соберетесь.

— Небось, не потонут... Эй, ребята! Вставай! Семеныч!

В углах заворочались.

— Чего там?—глухо отозвался Влас, рабочий староста.

— На мельницу ехать! Вставай, эй!..

— На мельницу?—сонно пролепетал Влас.

— Да ну, вставайте! Черти... Завалились!

Герасим прыгнул на пол. В углах заворочались сильней. Кто-то угрюмо спросил из темноты:

— На каку-таку мельницу?

Я с отчаянием воскликнул:

— Да вставайте же, наконец! Наводнение на мельнице... Поскорей! Богучаровскую мельницу уже снесло, все Городище залило.

Работники стали подниматься.

Я сказал Власу о баграх и телегах и побежал домой к себе наверх. В темноте я отыскал и надел большие сапоги, пальто, но фуражки не было. Я вспомнил, она лежит в зале на окне.

— Куда это ты, Митя?—спросила мама, когда я вбежал в залу и схватил фуражку.

Я торопливо ответил:

— На мельницу с работниками!

— Это еще что тебе вздумалось! Утонуть, что ли, тебе хочется, или простудиться? Нет, голубчик, вздор! И не думай!

Я остановился.

— Ну, мамочка, позволь ехать!—сказал я упавшим голосом.— Ведь вот работников же ты посылаешь!

— Нет, нет, нет, и не думай! Работники — совсем другое дело.

— Я лучше всех их плаваю, а с Герасимом мы вчера, когда боролись...

— Ну, нет, уж оставь это, пожалуйста. Нельзя—и нельзя. Об этом нечего и говорить.

Из кабинета вышел папа.

— О чем это? В чем дело?—спросил он.

— Да пустяки: Митя хочет ехать на мельницу.

Папа нахмурился.

— Что тебе там понадобилось? Оставь, брат, это, сделай милость! И без тебя все прекрасно обойдется. Ступай-ка лучше спать: уж первый час... Спать, спать, детки! Пора!—обратился он к сестрам.— И ты, клопенок, еще не спишь? Ах, ты, козявка! Сию минуту всем в постель! Марш!.. Раз, два, три!

Сестры простились и ушли. Папа с мамою отправились в кабинет. Я постоял в опустевшей зале и побрел к себе.

В полутемной передней, у окна, слабо рисовалась небольшая тень. Я вгляделся: это была Лиза. Она грызла на дрожащих пальцах ногти и следила за мною нахмуренными, блестящими глазами. Я встретился с нею взглядом и почему-то остановился.

— Ми-тя!

— Что?

— Митя, ты... поедешь туда?

Я угрюмо ответил:

— Ведь ты слышала, папа не позволил.

— Я не знаю... Я бы...—Лиза испуганно оглянулась.

Меня вдруг охватила злоба.

— Что бы ты?!—закричал я, задыхаясь.—Чего ты тут стоишь? Скоро час, давно пора спать! Вот я папе скажу, что ты тут... по ночам...

И я быстро вышел.

II

Когда я поднялся к себе наверх, сердце стучало, колени дрожали и подгибались. Я постоял среди комнаты, подошел к окну и раскрыл его. Ветер обдал меня мелкими брызгами; небо было так черно, что на нем даже не видно было очертаний шумевших перед окном деревьев. Я высунулся из окна и стал смотреть влево, на двор.

В темноте двигались тусклые огни фонарей; летучий свет падал то на морду лошади, то на задок телеги, то на сумрачную фигуру работника. С воем ветра мешались грубые, заспанные голоса людей и напряженное лошадиное ржание. В душе у меня росло смутное, волнующее чувство, я жадно следил за сборами и дрожал все сильнее.

Работники снарядились. Огни фонарей замелькали быстрее, раздались понукания, шум колес, и все исчезло в темноте. Сердце мое упало, я вдруг перестал дрожать, волнение прошло; с скверным, в чем-то оправдывающимся перед собою чувством я отошел от окна.

Вяло раскрыл Лермонтова, попробовал читать. Это был мой любимый поэт.

Час разлуки, час свиданья
Им не радость, не печаль,
Им в грядущем нет желанья,
Им прошедшего не жаль.

Господи, как бесцветно, как плоско и ненужно!.. Я с отвращением закрыл книгу и снова высунулся в окно.

Дождь все лил и лил; деревья бились под ветром и глухо стонали. В шуме непогоды мне чудились далекие, отчаянные вопли, треск и гул.

На дворе послышался быстрый, хляпающий по грязи топот скачущей лошади. Торопливый голос прокричал:

— Микола-ай! Поди, у Степана Степаныча весла возьми: лодку спрашивают!

У меня радостно ёкнуло сердце: это кричал Герасим. Он был оттуда, где теперь в бушующей тьме кипела борьба и работа. И опять что-то всколыхнулось в душе, и прежняя дрожь побежала по спине и плечам.

На дворе снова замелькал фонарь. Послышался говор: Герасим спорил с дворником Николаем.

— А, ч-чорт косоногий!—донесся озлобленный голос Герасима. Да один с нею не справишься! В этакую-то пору!.. Я и весел в руки никогда не брал!

То, что нерешительно дрожало в глубине души, вдруг вольною, сильною волною взмыло вверх и радостно охватило душу. Я быстро надел пальто, фуражку и полез из окна. Руки и ноги скользили по намокшим, склизким планкам, перед глазами мелькнуло окно нижнего этажа, и я обрушился в кусты сирени под окном.

Отирая мокрые, исцарапанные руки о пальто, я подошел к спорившим.

— О чем это вы?—спросил я Герасима.

Герасим взглянул на меня и, не отвечая, снова обратился к Николаю:

— Чорт косоногий, сволочь! Слышь, пойдем что ли! Боисси!.. Нешто один с нею справишься?

— Сказано тебе: не приказала барыня отлучаться от двора,— огрызался Николай.

— «Барыня не приказала»!.. Леший этакий, боисси, в конуру запрятался!

— Э, плюнь ты на него!—с презрением крикнул я.—Гараська, идем со мной!

— О-о?—радостно отозвался Герасим.—Вот так барин!.. Пойдем!

Он взвалил весла на плечи. Мы побежали в сад.

Шлепая по лужам, мы пересекли липовую аллею, перелезли через плетень и по крутому скользкому откосу сбежали к реке.

Вода сажени на две выступила за обычную линию берега. Далеко в темноте уродливо чернела над водою накренившаяся, полузатопленная купальня.

— Эге!.. Мостки-то снесло!—протянул Герасим и остановился.—Вот и доберись до лодки!

Он сбросил весла на землю и почесал в затылке.

Я был, как пьяный, все легко и смутно проносилось перед глазами, все делалось просто и скоро, как думалось. Тускло сверкала широкая полоса воды, отделявшая нас от лодки, руки сами собою сорвали с тела одежду, и я с разбега бросился в реку. Под водою у меня стеснилось в груди от холода. Потом вдруг все тело загорелось, как от кипятка. Я отвязал лодку от купальни и подплыл с нею к берегу.

Стуча зубами от холода и волнения, я торопливо одевался. Деревья уже не бились под ветром, сквозь разорванные тучи слабо мигали звезды. Мы сели в лодку, я налег на весла и вывел ее на середину реки. Река подхватила нас и помчала.

Плавно отошел назад темный сад, с тихим ропотом отряхивавшийся от дождевых капель; огонек мелькнул сквозь ветви и исчез. Глубокая тьма налегла на лодку. Над водяною гладью чуть темнели верхушки затопленных прибрежных кустов. Вокруг нас, шипя и сшибаясь струями, бежала черная вода.

Герасим неподвижно сидел на корме, понурив голову, и держался обеими руками за борта лодки. А мне было безумно весело; как будто вихрь какой-то подхватил меня, и я упоенно несся в нем; и такими маленькими, пустыми казались мне оставленные назади запреты и мои колебания. Вода шипела вокруг носа лодки, весла гнулись и трещали под моими руками, лодка неслась, как ласточка.

Герасим заговорил:

— А Городище как залило, страсть!.. Под'ехали мы, лошади нейдут, назад ворочаются. Ребята по тайдаковской дороге в об'езд поехали на березовую рощу...

Из темной дали все явственнее доносился гул бежавшей через плотину воды. Герасим встрепенулся и тряхнул головою.

— Ишь, хлещет как!—с улыбкой сказал он, прислушиваясь.— Вот погоди, нанесет нас на плотину, тогда держись: так прямо в бучило и хахнет!

Я усмехнулся. Герасим продолжал меня пугать.

— А в бучиле-то шут сидит, дожидается... Как схва-атит за ноги—ге-ге!.. Тогда, брат, посмеешься!

Мне было странно,—неужели Герасим думает, что мне хоть немножко страшно! Я, напротив, жалел, что кругом так мало опасности; мне хотелось бешено разогнать лодку и пустить ее прямо на плотину.

Река круто поворачивала вправо. Мы обогнули мыс. Неожиданно шум падающей воды раздался почти под самым носом лодки, хотя до плотины было еще четверть версты. Далеко в темноте, на склоне рощи, мелькали блестящие точки фонарей. Сквозь гул воды доносился заунывный женский вой.

— Вон-они, и ребята подошли!—сказал Герасим, вглядываясь в темноту.—Эге! Избу-то уж снесло!.. Держи к берегу!

Мы перерезали течение, выплыли на берег, глубоко залитый водою. У плотины, где раньше была изба, теперь вольно бурлила река. Черная вода стояла под дворовыми навесами и извилистыми волнами плескалась в окна уцелевшей людской.

III

Работники только-что под'ехали и, тихо переговариваясь, слезали с телег. К ним навстречу бросился мельник.

— Гляньте-ка, братцы, гляньте!—плакал он, и мокрые космы волос тряслись над бледным, жирным лицом.—Все как есть, залило,—ничего не осталось!.. Изба-то, глядите вон,—нет ее! Все снесло... Голубчики вы мои! Помирать пора пришла!

Босой и распоясанный, он суетился вокруг работников и дрожащими руками указывал на мельницу.

— Ребяток-то спасли ли?—сурово спросил Влас, снимая сермяжный халат.

— Слава те, господи, повытаскали ребят! А добро все там осталось... И скотина вся там, и сундук!—семьдесят, братцы, целковых в нем!.. Хряк вот в сенцах остался, слышь, визжит!

Работники нерешительно толклись вокруг телег и распутывали веревки.

— Ба-а-атюшка ты мой ро-о-одненький!..—скорчившись на узлах, глухо выла мельничиха, и казалось, что воет в трубе осенний ветер.

Один из работников, Афиноген,—высокий мужик с рябым, надменным лицом,—вдруг встрепенулся и бросил в телегу распутанную веревку.

— Ну, ну, ребята, пошевеливайся!—крикнул он.—Берись за багры, чего стоишь?.. Да вон, никак, и Гараська с лодкой!..

Мы в'ехали в круг света и подплыли к работникам.

— Эге, и барин тоже тут,—молодчага!—небрежно кинул Афиноген.

Я улыбнулся гордою, радостною улыбкою, но от его пренебрежительного взгляда улыбка закончилась неловким смешком. Афиноген прыгнул в лодку и крикнул мельнику:

— Иваныч, садись с нами! Показывай, где сундук.

Иваныч торопливо уселся на корму.

— Ну, барин, везите к избе!—скомандовал Афиноген.

Я взялся за весла.

— Смотри, ребята, трещит плотина-то!—робко сказал один из оставшихся работников.—Прорвет,—и лодку унесет, и вас всех.

Я покосился на Афиногена и засмеялся.

— Ты-то чего боишься? Не тебя ведь унесет.

— Прихвати на случай веревкой за кольцо, да придержи конец,— сказал Афиноген.

Веревку привязали к носу. Я налег на весла и под'ехал к избе. Афиноген с Иванычем и Герасимом бросились в сени. Я остался ждать в лодке.

Огни фонарей ложились на воду тусклыми, дробящимися полосами. Черная группа работников по ту сторону заводи стояла недвижно и молча. Небо очистилось от туч, на востоке светлело. Из-за угла избы несся непрерывный гул бившей через плотину воды. Лодка подо мною мерно качалась и изредка стукалась о стену избы.

Вдруг где-то,—я не успел сообразить, где,—что-то глухо затрещало и потом тяжело, раскатисто охнуло; я почувствовал, что меня с лодкою куда-то потянуло.

— Хо-о-оо! Держи, держи!!!

Лодка странно запрыгала и вдруг сильно тряхнула меня. Я инстинктивно впился руками в перекладину, перед глазами мелькнуло серое небо,—и все вокруг завертелось с оглушительным ревом. Огромный поток, мне казалось, подхватил меня и помчал куда-то в бездну. Я захлебывался...

Вдруг я почувствовал, что лежу на чем-то мягком и склизком. Земля дрожала от страшного гула. Я вскочил на ноги. Кругом воды уже не было. Ко мне подбегали работники. Рядом в грязи валялась лодка. Звучали радостные голоса:

— И-ишь! Удержали! Не унесло!

Я молча взглянул на реку. Напор воды опрокинул половину плотины, сорвал по пути мельничные колеса и сильно покачнул свайный амбар. Далеко за плотиною, крутясь в огромных клубах желтой пены, выплывали обломки бревен, хвороста и колес. Вода бешено неслась через пробитое отверстие.

Маленький, пухлый Федосей любовно глядел на меня и изумленно говорил:

— И как это барин наш в бучило не уплыл! Вижу я, братцы мои, прорвало плотину,—ну, думаю, погибай наш барин! Место глыбкое, и не найдешь потом. Держу конец, а сам думаю; лодку, дескать, спасем, а барина нашего не доищемся. Ан вот он—он. Целехонек!

— Долго ли до греха!—вздохнул Влас.—Так бы и пропал паренек!.. О, господи-батюшка!

Я тряхнул головой и засмеялся.

— Ну, что об этом разговаривать! Не унесло, цел,—чего еще? Что так стоять? Пора и за работу.

В это время мне бросилось в глаза лицо Афиногена. Он смотрел на меня с легкой, едва заметною улыбкой под редкими усами; с такой улыбкой смотрел бы человек на своего спасенного младшего брата. Афиноген подошел ко мне.

— Ну, барин, вы теперь домой ступайте! Ишь, промокли как: сухой нитки нет. Холодно. Да и папаша рассердятся; небось, не спр: сясь ушли?

Я радостно улыбнулся.

— Пускай рассердится!.. Да мне и не холодно вовсе.

Но это была неправда: я дрожал, как в ознобе; промокшее пальто коробом сидело на плечах, рубашка неприятно липла к телу.

Афиноген, Влас и Иваныч обсуждали, что теперь делать. Одни работники слушали их и вставляли свои замечания, другие смотрели, как мутно-желтая вода с ревом неслась сквозь пробоину в плотине. Кондратьевна, жена Иваныча, молча сидела на узлах и апатично следила за мужем красными, опухшими от слез глазами.

Было уже совсем светло. Заря разгоралась все ярче, с востока дул холодный утренний ветерок. Я постоял на месте, окинул всех взглядом и побрел домой.

В окольном пути теперь не было надобности. Схлынувшая вода очистила Городище,—луг, лежавший между мельницей и нашей усадьбой. Я прошел его и стал подниматься по дороге в гору. На полпути я оглянулся. Косые лучи утреннего солнца весело играли по лужам и по мокрой, блестящей отаве луга. В березовой роще, за лугом, протяжно стонали иволги; жаворонки заливались в небе.

Вокруг мельницы кипела дружная, горячая работа. Афиноген и Герасим каким-то непостижимым образом пробрались в свайный амбар, в который всей своею силой бил прорвавшийся поток. Уже несколько раз, как показалось мне, заметно дрогнуло крепкое бревенчатое здание, а в слуховое окно все еще вылетали мучные кули и, описав дугу над потоком, ударялись в берег, испуская клубы белой пыли. Остальные работники перебрались на ту сторону реки и старались поднять щиты, чтобы спасти уцелевшую часть плотины.

Мне стало грустно и стыдно, что я ухожу. Потянуло назад. Но было уже поздно, дома могли меня хватиться. Я пошел дальше.

С горы навстречу мне бежала низенькая, толстая фигура человека в темной одежде. Я с беспокойством приглядывался к ее неуклюже-быстрым движениям.

— Кто бы это мог быть?

Она все приближалась. Я вздрогнул: это была мама.

Редкие волосы ее выбились из-под платка и мокрыми прядями стлались по лицу; пальто было мокро и забрызгано грязью, лицо измучено долгою тревогою. Я в смущении остановился. А она бежала, скользя по грязи, через лужи и промоины, устремив на меня сиявшие счастьем глаза.

В два прыжка я очутился перед мамою и подхватил ее на руки. Она порывисто прижала меня к груди и осыпала поцелуями.

— Ну, слава, слава богу!—проговорила она, наконец, и начала креститься, в глубоком экстазе подняв глаза к небу; по лицу бежали крупные светлые слезы.

IV

На следующий день я проснулся поздно.

В комнате стоял золотистый сумрак от лучей, пробившихся сквозь занавески; муха со звоном билась о стекло. В доме было тихо, от сарая несся мерный лязг отбиваемых кос.

Я вскочил с постели бодрый, выспавшийся, и быстро стал одеваться. Первые две-три минуты я почти не вспоминал о вчерашнем; на душе было радостно и легко, воспоминания проносились в голове, почти не схватываемые сознанием. Лишь умываясь, я вдруг вспомнил о случившемся и немножко смутился. Конечно, мама никому ничего не сказала бы. Но знала о моем ночном путешествии не она одна; ей самой сообщила о нем экономка Липатьевна. А у Липатьевны язык был очень длинный... Смущение мое, впрочем, сейчас же само собою рассеялось, и вниз я спустился в том же светлом, безотчетно-радостном настроении.

Чай уже отпили. Катя ждала меня перед потухшим самоваром и вязала что-то крючком. Она встретила меня долгим, серьезным взглядом и молча опустила глаза на вязанье.

Я спросил, что теперь делается на мельнице. Она неохотно ответила и стала наливать мне чай. Вдруг из соседней комнаты, где была мамина спальня, раздался протяжный стон.

Я в смущении прислушался и взглянул на сестру. Она молча продолжала вязать, только губы ее страдальчески сжались. Я спросил:

— Катя, что это?

Она тихо ответила:

— У мамы ревматизм.

У меня неприятно сжалось сердце. Катя сидела, грустно и сосредоточенно склонившись над вязаньем.

— Никогда еще такого сильного не было: мама *плакала*,— прибавила она, не поднимая глаз.

Значит, страдания, правда, были невыносимы, мы знали слезы матери только о нас.

Из спальни вышел папа,—нахмуренный, расстроенный. Холодно скользнул по мне взглядом и прошел к себе. Я встал и поплелся в спальню.

Мама лежала в постели, с стыдливо страдальческою улыбкою на закушенных губах. Липатьевна, суетясь и вздыхая, оправляла ее подушки. Пахло иодом. У окна стояла Лиза и, косясь на маму, нервно грызла ногти. Мы встретились с нею глазами. Она пугливо скользнула взглядом в сторону и с'ежилась. Мама крепко поцеловала меня.

— Ну, что, голубчик, как ты себя чувствуешь?

— Я?.. Ничего...—пролепетал я.

— Смотри, ничего ли? Может быть... О-о-о!—вдруг застонала она и крепко прикусила губу.—Липатьевна, голубушка, подай мне ту коробку с облатками!—сказала она, передохнув.

Я постоял на месте и, совершенно уничтоженный, вышел из комнаты.

У себя наверху я сел к столу и стиснул голову руками. Господи, что я наделал!

И что меня вчера понесло на мельницу? Что мне там понадобилось? Вспомнился туман радостного опьянения. Вспомнилось, как шипела река вокруг вольно мчавшейся лодки, как улыбнулся мне Афиноген. Мне тогда было весело, мне хотелось, чтобы Афиноген и все видели, какой я храбрый, а в это время... И передо мною вставало лицо матери, вчерашнее—сияющее любовью и счастием,

сегодняшнее—бледное, страдающее. И ни одного упрека, ни одной жалобы, ни даже намека!

На лестнице раздались быстрые шаги и отрывистое покашливанье. Я замер: это был папа.

Он вошел. Я встал, чтобы поздороваться. Но папа, как будто на замечая, прошел к столу и сел в кресло.

— Я, брат, поговорить с тобой хотел,—сказал он, немного задыхаясь; взял со стола карандаш и стал вертеть его в руках.— Правда, что ты сегодня ночью ездил на мельницу?

Он с ожиданием устремил на меня взгляд поверх очков. Я чуть слышно ответил:

— Да.

— Так это правда?.. А я, брат, когда мне рассказали, сначала верить не хотел. Что же, самостоятельные, значит, теперь люди, а?

Я молчал.

— Значит, что отец там и мать запретили, до этого нам дела нет? Я сам себе теперь хозяин, а? так? Первый порыв,— чтó там о других думать? Пускай там мать в грязи мокнет, пускай там все... Нам-то какое-дело?

Он положил карандаш и заходил по комнате.

— Ну, полюбуйся теперь, послушай поди, как мать от боли стонет... А мы зато мельникова поросенка от потопления спасли!— горько усмехнулся он.

Я все молчал. Папа тоже замолчал, продолжая ходить по комнате. Потом снова заговорил, словно рассуждая сам с собою:

— То-есть, чтоб до того увлечься чтоб до того все забыть! Хоть бы немножко, хоть немножко подумать о том, что делаешь! Первый порыв, какой-то сумасшедший, безумный порыв! Хоть бы ты о том подумал: что бы ты там помог —ты, ребенок еще! Ведь там сильные, здоровые мужики были! Ну, а хорошо было бы, если бы ты простудился и схватил тиф? Пролежал бы три месяца, от товарищей отстал бы, и пришлось бы на второй год оставаться в том же классе. Да еще славу бы богу, если бы только тиф! Ну, а если бы ты утонул? Тебе наше горе, наши слезы ни почем?

Он остановился передо мною.

— Друг мой, не забывай, что ты у нас один. Мы с матерью— старики, не сегодня — завтра умрем,—на кого сестры останутся? На тебе, брат, лежат священные обязанности, и ты не имеешь права относиться к ним с легким сердцем.

Папа совсем успокоился; голос его звучал все мягче и ласковее. Но странно: чем дальше, тем быстрее улетучивалось во мне то настроение, в каком он меня застал. Что-то тяжелое и неприятное стало шевелиться у меня в душе.

Папа сделал движение; он, кажется, хотел обнять меня и поцеловать, он, кажется, ждал, что я выражу раскаяние. Я переступил с ноги на ногу, поднял глаза—и вдруг почувствовал, что непроизвольно, неожиданно для меня самого, в них вспыхнул холодный, злой огонек.

Я быстро метнулся взглядом в сторону и закусил губу. Не знаю, заметил ли что папа. Он ласково положил мне руку на плечо и сказал:

— Ну, так не будем же, голубчик, ссориться с тобою, пожалуйста, только, чтоб этого вперед никогда не было. Я понимаю, ты поступил так не от злого сердца; но думай же хоть немножко над тем, что ты делаешь.

— Я не виноват!—вдруг угрюмо буркнул я, не поднимая глаз.

Папа опустил руку.

— Не ви-но-ват?

Я стоял, все так же насупившись и закусив губу. Изменившимся голосом папа спросил:

— Ты себя, Митя, не считаешь виноватым?

— Нет!

— Ах, тогда другое дело! Тогда, разумеется, другое дело. В таком случае и разговаривать не о чем.

Он повернулся и вышел из комнаты.

V

Я неподвижно стоял. Совершилось что-то невероятное, ужасное, чему даже нельзя подыскать имени... «Не виноват!» Неправда, я

был виноват, я чувствовал себя виноватым. Какой-то бессмысленный, самому мне непонятный порыв вырвал у меня это грубое: «нет!».

Я медленно спустился вниз и через сад ушел в поле.

В голове было смутно, сердце мертвым комком висело в груди. По золотистой ржи, не глядя на меня, тихо бежали волны; васильки чуждо синели над межою; и чуждо звенели в небе жаворонки. Я взглядывал на свой поступок со стороны, и мне казалось невероятным, чтоб я мог его совершить. Вдруг словно что осенило меня.

Господи, да чего же я! Итти скорей, сказать, что я сам не знаю, как это вышло, попросить прощения...

— Нет!—раздался в душе негодующий голос.

И то же злобно-упрямое чувство, как тогда, разом охватило меня...

Я воротился домой поздно вечером, когда заря догорела, и работники проехали на ночное.

В саду перед домом я остановился и заглянул в окно. В зале ужинали. Слышен был звон ножей и ложек, тихий говор. Мне видно было папу, сидевшего у самого окна, спиною ко мне. Я стал ждать. Наконец, задвигались стулья, папа встал. Сестры подошли к нему прощаться. Он перекрестил их и перецеловал.

Я почувствовал, что все время упорным, злобным взглядом слежу за папою. Страшно мне стало: это к *нему* такое чувство!

В зале стихло. Я подождал и стал осторожно пробираться к себе. Но мама еще не спала. Когда я проходил по коридору, она окликнула меня. Делать было нечего, я собрался с духом и вошел, стараясь не смотреть ей в глаза.

Она лежала в постели, с обложенною подушками, забинтованною рукою; мне показалось, что лицо ее за этот день похудело, а глаза стали больше.

— Слушай, Митя...—начала она. И пристально глядела на меня.

Я смотрел в сторону, но чувствовал на себе ее взгляд, печальный и долгий. Она помолчала.

— Ты, конечно, попросил у папы прощения?

Я прикусил губу и насупился.

— Нет.

Мама молча и внимательно смотрела на меня.

— Да я и не знаю, в чем мне прощения просить, — прошептал я.

— Голубчик мой, что это с тобой сделалось?— с болью спросила она.—Ведь ты его так обидел! Он пришел ко мне,—я его просто не узнала: совсем лица нет... И за что это, за что? Что он тебя ласково попенял, что ты нас не послушался? За это? Так неужели же отец не может этого даже *требовать*? Или ты себя теперь считаешь самостоятельным человеком? Голубчик мой, ведь тебе же пят-надцать лет всего!

Я молчал. Ее глаза смотрели на меня, страдающие и кротко-укоризненные.

— Да, может быть, я еще попрошу прощения!—тихо сказал я.

Мама облегченно вздохнула.

— Ну, иди же, голубчик! Сейчас иди, не откладывай до завтра. Господь с тобой!

Я пошел.

В папином кабинете еще горел огонь. Я тихонько взялся за ручку двери...

Но через минуту я уже сидел у себя на верху, сгорбившись и угрюмо глядя в угол: дальше двери я к отцу не пошел; прежняя темная, непонятная мне сила с негодованием отшатнула меня от его порога. Теперь я окончательно чувствовал себя преступником,— закоренелым, неспособным к раскаянию. Но я не ужасался; я ожесточенно закусывал губы и думал: «И пускай!».

Предо мною вставало лицо матери, кроткое, молящее; слышались слова всеобщего осуждения и негодования... «Ну, что ж, и пускай»!—угрюмо и вызывающе думал я.

VI

Спустившись назавтра к утреннему чаю, я застал всех, кроме мамы, в сборе. Разговор прекратился, как только я вошел. Папа поднял голову и с холодным удивлением измерил меня взглядом,

словно недоумевал, что нужно здесь этому неизвестному человеку? Я насупился и, ни с кем не здороваясь, сел к столу.

Папа отвернулся, кашлянул и принялся за свой стакан.

Чай прошел в полном молчании. Катя сидела, строгая и печальная, неподвижно глядя на скатерть. Лиза уныло молчала. Видимо, обе они уже знали все. Шура, и та притихла, с удивлением оглядывая нас.

Папа выпил стакан и сейчас же ушел. Молчание не прерывалось. Молча все встали из-за стола. Я подошел к Лизе.

— Хочешь, Лиза, итти на Волчьи Ямы? Там сегодня снопы возят—и работники наши, и щепотьевские мужики.

Я постарался сказать это самым обычным голосом, но вышло очень неестественно. Лиза печально и покорно взглянула на меня.

— Пойдем.

Мы отправились низом, через сад. Я шел, посвистывая и сбивая палкою головки попадавшимся татарникам и чертополоху. Лиза молча шла рядом.

— Митя!

— Что ты?

Лиза робко и с усилием сказала:

— Митя... попроси у папы... прощения...

Я нахмурился.

— Прощения? В чем это?

Она молчала.

— Пожалуйста, не суйся, куда тебя вовсе не спрашивают!

Лиза еще ниже опустила голову. Я снова начал сбивать палкою репейные головки.

— Митя, попроси прощения!—тихо повторила она и умоляюще взглянула на меня.

Я сердито повел плечами и пошел быстрее.

Всю остальную дорогу мы не сказали ни слова.

Что-то вдруг отдалило нас друг от друга.

С этой минуты я весь ушел в себя. Теперь никого не было на моей стороне. Я остался один.

И потянулись дни... Одиночество, в котором я очутился, было полное. Не только все кругом,—собственное мое сознание было против меня. Только глубоко под сознанием, как скрученная пружина, напряженно дрожала смутная, непонятная мне сила. Она вела меня, направляла—и молчала. А рассудок ясно и строго произносил над нею осуждающий приговор, и я ничего не мог сказать в ее защиту. Но все равно! Злая ли то была сила, добрая ли,—она стала мне дороже меня, я бесповоротно отдался ей и шел с нею против всех.

Папа держался со мною так, как будто не замечал моего присутствия. Мама, прикованная ревматизмом к постели, не выходила из спальни. На прекрасном, всегда спокойном лице Кати я читал такое беспощадное осуждение себе, что, казалось, умри я,—и то ее лицо не дрогнуло бы. Я с вызовом принимал это отношение и шел ему навстречу. Но с кем мне теперь было тяжело встречаться, это с Лизой: с ее бледного, страдающего лица смотрели на меня глаза с таким тоскливым вопросом... А я этого-то вопроса и не мог разрешить.

Иногда приходили минуты, когда как будто что-то прояснялось во мне, и я взглядывал на себя со стороны; тогда мне становилось странно,—я ли это живу и действую в своем теле? В такие минуты я замечал, что папа сильно похудел, что между его бровями прорезалась складка, которой раньше не было. И во мне шевелилась жалость к нему, и зарождалось желание пойти и примириться с ним, снова все поставить по-старому. Но это желание скоро исчезло, и я снова замыкался в себе.

Время шло, и никакой перемены в наших отношениях не было. Но я был убежден, что между мной и папой еще произойдет что-то необыкновенное и страшное. Если бы папе не предстояло в скорости уехать, все, может быть, вошло бы постепенно в колею; но он через несколько дней надолго уезжал; как же он отнесется ко мне при прощании? Будет и тогда совершенно не замечать меня, как теперь? Это невозможно. Еще невозможнее ждать, чтоб он ласково и горячо простился со мною. Очевидно, должно было произойти что-то особенное...

VII

И вот, наконец, пришел последний день.

Папе нужно было выезжать к поезду около десяти часов вечера. С раннего утра все в доме стало вверх дном. Липатьевна переносила из прачечной в залу выглаженное белье. В спальне, под маминым наблюдением, горничные укладывали чемоданы. Афиноген смазывал на дворе тарантас. Папа отдавал последние приказания старосте.

Я просидел у себя на верху весь день. Ни к завтраку, ни к обеду я не вышел. Мне страшно было итти вниз: там все должно было решиться. И я старался оттянуть эту минуту. Внизу ходили, кричали. Я прислушивался, как вор, боящийся, чтоб его не накрыли.

Часов в восемь вечера я собрался с духом и спустился в залу. Все были заняты, и на меня никто не обратил внимания. Я молча остановился у окна. Мимо меня проходили, но никто как будто не замечал меня, словно я был вещью в роде стола или стула, на который странно оглядываться.

Я стоял уже с полчаса.

«Час, другой,—и придет минута»...—вдруг мелькнуло в голове.

И мне стало ясно, что минута эта не пройдет мимо. До тех пор я просто ждал ее, теперь я всем существом почувствовал ее неизбежность. Ведь это *вправду* будет, и не когда-нибудь, а вот сейчас, теперь... Уже к десяти часам все решится; теперь восемь... В эти два часа...

Я прошелся по зале и опять подошел к окну. Сердце замирало от ужаса, злобы и отчаянной решимости.

«Господи, скорее бы!.. Пускай будет, что будет, только скорей, скорей»...

Жук влетел в раскрытое окно, за рекою засветился огонек. Сад был еще полон стрекотаньем и чириканьем, но в ясном воздухе уже разливалось что-то задумчиво-тихое, молчаливое. Не шевелились деревья, река чуть зыбилась. И меня поразило, как все кругом торжественно-спокойно. Умереть бы теперь,—именно теперь же, не дожидаясь ничего...

В передней кто-то кашлянул.

— Барин, поди сюда!—услышал я голос Власа.

Я вышел.

— Поди, позови ко мне папашу. Совсем из головы вон! Позабыл его про слеги новые спросить. Скажи, что Влас, мол, пришел.

У меня в горле задрожал смех: слеги какие-то! Будто в этих несчастных слегах теперь дело! Папа стоял перед конторкою и перебирал бумаги. При моем входе он быстро поднял голову и впился в меня глазами.

— Папа, там Влас пришел, просит тебя на минутку.

— Что?—крикнул он плачущим голосом.

Я робко повторил:

— Влас тебя спрашивает. Про слеги новые.

Папа отвернулся и стал рыться в бумагах.

— Хорошо... Сейчас...

Я ушел. В зале уж накрывали ужинать. Николай, со связкою веревок в руках, прошел в мамину комнату, бережно ступая по полу неуклюжими сапогами. Я вышел на балкон и присел на ступеньку. Теперь у меня ничего не было в душе,—была пустота без чувства, без мысли. Как будто мою голову приложили к плахе.

Подали ужинать. Молча все сошлись. Молча и ели все, ни на кого не глядя. Та холодная, тоскливая тяжесть, которая ощущалась всю эту неделю, когда нам приходилось быть вместе, теперь достигла крайней степени. Наконец, отужинали. Папа снова ушел к себе.

— Финаге-е-н!.. Лошадей запрягай!—услышал я на крыльце визгливый голос Липатьевны.

Не знаю, откуда у меня взялась смелость: я пошел к маме. Николай увязывал последний чемодан. Покончив с ним, он сложил все в углу один на другой и ушел.

— Митя,—услышал я тихий, дрожащий голос.

Мама смотрела на меня долгим, пристальным взглядом, словно подзывая к себе. Я сделал к ней два шага.

— Митечка! Попроси у папы... прощения... — сказала она и вдруг, всем телом наклонившись вперед, тихо, беспомощно заплакала.

Я остолбенел. Новая, дотоле никогда мною не слыханая нота звучала в ее голосе: то безвольная рабыня плакала, вымаливая у грозного господина хоть каплю сострадания.

— Посмотри на папу... Ведь он в эту неделю... на десять лет постарел,—еле проговорила она сквозь рыдания.

Что-то до крайности напрягшееся вдруг словно оборвалось во мне.

— Мама!.. Я... пойду...—сказал я, задыхаясь, и, высвободив руку, медленно пошел из комнаты.

Как будто чужая, посторонняя душе сила вела меня, не спрашивая, хочу ли я итти, нет ли. Перед папиной дверью я на минуту остановился. Та же сила толкнула меня вперед. Я вошел в кабинет.

Папа сидел за письменным столом и писал что-то в записной книжке. Я неловко подошел и тихо сказал, глядя в землю.

— Папа, прости меня.

Папа перестал писать, как будто удивился и холодно взглянул на меня.

— Простить тебя? В чем? Я на тебя не сержусь.

И он снова взялся за карандаш. С минуту длилось молчание.

— Что же ты стоишь? Иди себе... Да вот, кстати: вели лошадей подавать, пора ехать.

— Прости меня!—повторил я и быстро взглянул на него.

— Поздно, голубчик мой!—печально сказал папа.—Теперь мне ехать пора, а не о прощении разговаривать. Как бы еще на поезд не опоздать. Да я на тебя вовсе и не сержусь. Тебе что, прощенье нужно? Изволь, я прощаю. Ведь тебе это, действительно, как я вижу, крайне необходимо..

Он горько усмехнулся и замолчал. Я тоже замолчал, не двигаясь с места.

— О, Господи!—вдруг воскликнул папа и схватился за голову.— За что, за что мне это?! Я тут сижу, как дурак, ночей не сплю напролет... Я пятьдесят лет не плакал, теперь я узнал, что такое слезы... О-о-о!.. О-о-о!.. Если бы у меня что-нибудь такое с отцом вышло, я на шею бы ему кинулся и слезами бы... слезами... А ему и горя мало!.. Ему это только пустая формальность!..

Он откинулся на спинку кресла и зарыдал.

Я быстро поднял голову: он, *он* плакал передо мною!.. Это было невероятно и ужасно. Я кинулся к нему и остановился, беспомощно опустив руки.

— Папочка, прости меня!..—растерянно повторял я, с испугом и стыдом глядя на него.

— Ступай себе, бог тебе судья!..

Он положил голову на руки и продолжал беззвучно рыдать.

Я смотрел на него и не замечал, что у самого у меня слезы градом лились по лицу. Все, что случилось в последнюю неделю, вылетело у меня из головы; я видел только этого сдержанного человека, теперь плакавшего передо мною, как мальчик. Мне больно и обидно было за него, что он так унизился передо мною, и жалко было его; но, главное, я видел теперь, как неизмеримо я неправ перед ним, и как трудно мне искупить свою вину.

— За что это, за что?—сказал папа, закрыв глаза рукою.— Ведь ты меня ненавидеть начал, я это ясно вижу.... Это за то, что я вам всю жизнь отдал, только о вас и думал. Я не о твоем непослушании говорю,—за это бог тебе судья. Но я в ужас прихожу, когда подумаю о твоей безумной, ничего не разбирающей порывистости, твоей способности увлекаться до полного ослепления. Ты не знаешь, к чему это ведет, а я знаю... У меня сердце кровью обливается, как представляю себе, что ждет тебя в будущем с твоим характером... И ведь мой долг,—*долг*, понимаешь ли ты?—удерживать тебя, предостерегать тебя. И за это-то эта ненависть, эта вражда!.. Бог тебя простит! После когда-нибудь ты оценишь все,— тогда ты согласишься со мною, что я был прав...

— Папа... голубчик... прости меня!..—проговорил я, давясь от рыданий.

— Я тебе, друг мой, правду говорю; я на тебя не сержусь Если ты не веришь мне, если не хочешь видеть моей любви к тебе...

Я в тоске спросил:

— Могу ли я, по крайней мере, надеяться, что не теперь, а хоть потом, когда-нибудь, ты меня простишь?

Не помню, что происходило дальше; помню только, что это было что-то мучительное, как горячечный сон.

Папа простился со мною нежно и ласково, перекрестил и поцеловал меня; как сквозь туман, вспоминаю наше крыльцо, мерцающие во мраке фонари, папу в дорожном платье, лица мамы и сестер, поцелуи, пожелания... Звякнул колокольчик, лошади дернули, и ночная темь поглотила тарантас.

Я поднялся к себе наверх и растерянно подошел к окну. Вдали слабою трелью заливался колокольчик. Из-за зубчатого силуэта сосны выглядывал тонкий, блестящий серп месяца. Ветер слабо шумел в липах.

— А все-таки ты не виноват!—угрюмо прошептал голос в глубине души.

Отчаяние овладело мною, когда я улышал этот задорный голос. Я задушил его в себе и продолжал растерянно смотреть в окно..

1889

ТОВАРИЩИ

Василий Михайлович сидел за стаканом чая у открытого окна. Он спал после обеда и только-что поднялся—заспанный, хмурый. Спал плохо: все время сквозь сон он напряженно и тоскливо думал о чем-то; теперь он забыл, о чем думал, но на душе щемило, а в голове неотвязно стояли два стиха, бог весть с чего пришедшие на память:

> **Еще работы в жизни много,**
> **Работы честной и святой...**

Моросил дождь, на заросшей улице чернела грязная дорога; березы противоположного сада смутно рисовались на сером, дождливом небе; где-то кричали галки.

Василий Михайлович задумчиво и неподвижно смотрел в окно. Он думал о том, что уже целых два года прожил в Слесарске; эти два года пролетели страшно быстро, как одна неделя, а между тем воспоминанию не на чем остановиться: дни вяло тянулись за днями,—скучные, бессмысленные; опротивевшая служба, бесконечные прогулки по комнате, выпивки—и тупая тоска, из которой нет выхода, которая стала его обычным состоянием... Неужели так всю жизнь прожить? А между тем впереди уж ничего нет. Не нужно бы ярких радостей, разнообразия, счастья; довольно было бы знать, что живешь для чего-нибудь, что хоть кому-нибудь нужны твое дело, твой труд...

Дождь за окном моросил. Вода с однообразным шумом лилась из желоба в кадушку. В темневшей комнате мерно тикал маятник.

С улицы кто-то окликнул Василия Михайловича. Четверо мужчин в белых фуражках, с раскрытыми зонтиками, перебирались наискосок через дорогу к его квартире. Это были акцизники Зубаренко и Иванов, сослуживцы Василия Михайловича, врач Чуваев и Егоров, учитель прогимназии. Иванов, высокий и толстый человек, размахивая палкою, перепрыгивал впереди через лужи и кричал что-то Василию Михайловичу. Они шли к нему.

Василий Михайлович стоял у окна и, сморщившись, смотрел на Иванова. Теперь ему вдруг стала мила его печаль; он охотно остался бы с нею один.

Гости, стуча калошами, вошли в прихожую.

— Что это, господа, как вас редко видно?—сказал Василий Михайлович.

— Вопрос теперь не об этом,—лениво произнес доктор Чуваев, отряхивая воду с зонтика.—Вы лучше скажите: чаем нас напоите? пиво поставите?

— Ну, разумеется!—ответил Василий Михайлович, переходя в шутливо-грубоватый тон Чуваева.—Что я с вашим братом без пива делать буду?

Он пошел в кухню распорядиться. Когда он вернулся в залу, Иванов, смеясь и быстро расхаживая по комнате, рассказывал что-то; его широкое, добродушное лицо дышало весельем, но маленькие глаза смотрели, по обыкновению, жалко и расстерянно.

Этот Иванов своею разговорчивостью спасал всех; Василий Михайлович не знал, что бы он без него стал делать с гостями; да, впрочем, они бы и не пришли к нему без Иванова. С тех пор, как все они, товарищи по университету, неожиданно встретились в Слесарске в роли скромных чиновников, между ними легло что-то неискреннее и натянутое...

Василий Михайлович молча сел к окну. Иванов торопливо рассказывал:

— Эта дорога на Серебряные Пруды очень живописная. Налево Засека; справа, за рекой, Зыбинские горы... Один только недостаток: уже лет пять по этой дороге ни один чорт не ездил. Ну, вот, я и счел нужным восполнить этот недостаток,—прибавил он, громко

рассмеялся и оглядел всех своим растерянным взглядом.—Зайцев такая масса, просто удивительно!—обратился он к Василию Михайловичу.—И смелые какие!..

— Да вот как,—лениво вмешался Чуваев, никогда не бывавший в описываемых местах:—идешь,—на краю дороги заяц; возьмешь его за уши, встряхнешь и опять пускаешь.

Иванов засмеялся.

— Да, да, почти так! Едем мы с хозяйкою верхом, на дороге два зайца. Она кричит на них, чтобы спугнуть с дороги...

— А они оборачиваются: «Убирайся к чорту! Мы сами знаем, в какое время нам уходить!»—серьезно докончил Чуваев.

Учитель Егоров рассмеялся частым, густым смехом.

— Этакая дурища! Чего она обеспокоилась? Раздавить, что-ли, боялась зайцев? «Мы сами знаем, в какое время нам уходить»,— ей-Богу, славно!

Он стал закуривать и продолжал смеяться про себя остроте Чуваева.

В подобных разговорах пройдет весь вечер, Василий Михайлович знал это. Не молчать же, сойдясь вместе; а больше им говорить не о чем. Взгляды у всех очень честные, симпатичные и до мелочей одинаковые; заговори кто о чем серьезном,—и его слова встретятся скрытою улыбкою: ведь все, что он скажет, давно уже прочитано всеми в таких-то и таких-то хороших книжках.

Кухарка внесла самовар и заварила чай. Пересели к столу. Чуваев небрежно сказал:

— А бой-баба эта хозяйка ваша!.. Что она теперь, с Почекаевым, что ли, валандается?

— Д-да, кажется,—неохотно отозвался Иванов.

— Разве?—с удивлением спросил Егоров, насторожившись.— Вот тут и говори! Почекаев,—этакий, с позволения сказать, шиш!

— А вы что думаете? Он большим успехом пользуется у женщин.

— Да ведь это положительно уродец какой-то: маленький, на кривых ножках, лицо, как маска!

— Ну, там каков ни на есть,—улыбнулся Чуваев:—а его и сама Авдотья Николаевна близко знает, не то, что хозяйка его.

Василий Михайлович сидел у окна и молчал. Зубаренко, приземистый хохол в темных очках, угрюмо нахмурившись, курил папиросу за папиросой и тоже молчал. Остальные гости пили чай, разговаривали и словно не замечали настроения хозяина. Василий Михайлович пересел к столу и принял участие в общем разговоре.

Чай отпили. Чуваев и Василий Михайлович расспрашивали Егорова о его товарищах-учителях. Зубаренко и Иванов пересматривали на конце стола альбом; им попалась карточка Глеба Успенского, и они молчали, задумчиво глядя на его страдающее, измученное лицо.

Егоров говорил:

— Да вообще без винта тут не проживешь. Придешь к комунибудь: «а слышали вы, вчера Петр Петрович на большом шлеме сел без шести?» Слушаешь, как остолоп, и хлопаешь ушами. Ей-богу, хорошо бы научиться: славно бы можно вечера проводить.

— Найдите учителя, я тоже поучусь,—сказал Чуваев.

— Да, поди-ка! Кого ни попросишь,—ну, говорят, это слишком скучно.

— В семье, в школе нам никто никогда не говорил о наших обязанностях,—донесся с конца стола тихий, пришептывающий голос Зубаренки.—Не воруй, не лги, не обижай других, не, не, не... Вот была мораль.

Все насторожились и стали прислушиваться.

— Мы думали спокойно прожить с этою моралью, как жили наши отцы. И вдруг приходит книга и обращается к нам с неслыхано-громадным запросом: она требует, чтоб вся жизнь была одним сплошным подвигом. Но где взять для этого сил? Книга этих сил дать не могла,—она их предполагала уже существующими... И вот результат: она только искалечила нас и пустила гулять по свету с «больною совестью»...

Все молчали и слушали—внимательно, враждебно и пугливо. Как будто Зубаренко выдавал всем тайну, которую они старательно скрывали друг от друга. Чуваев с усмешкою почесал в затылке и громко спросил:

— А что, Василий Михайлович, пиво поставите вы нам сегодня?

Зубаренко покраснел и замолчал. Все вдруг неестественно оживились. Василий Михайлович, жадно слушавший Зубаренка, уныло поднялся и пошел распорядиться.

Подали пиво. Чуваев разлил его по стаканам. Заговорили о борьбе Висмарка с Вильгельмом, о выборах в Англии. Но разговор шел вяло, никто не смотрел друг другу в глаза.

— Что, господа, спеть бы что-нибудь!—предложил Егоров.

— Все старые, избитые песни, надоели!—слабо запротестовал Иванов.

Чуваев потрепал его по плечу.

— Ничего, Петр Сергеевич! Вы в них каждый раз на новый манер врете.

— Уж лучше спойте вы нам для начала что-нибудь один.

Чуваев встал и потянулся.

— Разве что для начала!.. Что же спеть-то?

— Спойте: «Так жизнь молодая».

Чуваев выпил стакан пива, прислонился к стене и откашлялся. Немного помолчал, потом запел:

Так жизнь молодая проходит бесследно,
А там—там уж близко конец;
И все, как посмотришь, так пусто, так бледно!..

Как будто совсем другой человек стоял теперь перед Василием Михайловичем: Чуваев выпрямился, брови его нахмурились, и в них легла скорбная складка; в мягком полусвете, бросаемом абажуром лампы, его лицо смотрело сурово и необычно.

Чем вспомнить кипучую жизнь молодую?
Любовью ль холодной, любовью ль бесстрастной?..

Все молчали. Просто, без всяких усилий, песня вдруг с'ютила их и сблизила; все переживали одно и то же, и переживали вместе, и хорошо всем было... А Чуваев пел, и несдерживаемою тоскою зазвучал его голос при последних словах песни:

Застынь же ты, сердце, и с жизнью ненастной!..

Егоров провел рукою по лбу.

— Славно, ей-Богу, славно!

— Ну, господа, теперь общее что-нибудь!—предложил Василий Михайлович; он оживился, ему вдруг стали милы его гости.—Андрей Иванович, за ваше здоровье!—обратился он к Чуваеву и с любовью поглядел на него.

Они чокнулись и выпили.

Пробки хлопали. Исчезла прежняя неловкость, все чувствовали себя свободно. Пиво развязало голоса. Чуваев запевал, остальные подхватывали. Пели: «Ой, во лузях», «Гой, ты Днипр», «Не осенний мелкий дождичек»...

И Василий Михайлович пел. Голова его слегка кружилась; все вокруг приняло мягкий, поэтический оттенок; на душе было грустно. Опять вспомнились ему два последние года, бездеятельные, позорные: сердце спало, мысль довольствовалась готовыми ответами и ни разу не шевельнулась самостоятельно. И дальше то же будет. А между тем он учился, он когда-то думал, искал... И все это для того, чтобы здесь, где так нужны люди, только пьянствовать, сплетничать и жалеть, что не у кого научиться играть в карты.

Еще работы в жизни много,
Работы честной и святой...

Было время, когда и он говорил это, и они все. Тогда хорошо было жить, будущее было светло, думалось, что не на пустяки даны силы...

Знакомые песни звучали в ушах и будили воспоминания. И на остальных всех пахнуло прежним временем; лица были задумчивы и грустны.

— Эх, господа!—воскликнул Василий Михайлович прерывающимся голосом.—Давайте старую споем, хорошую:

Этих чудных ночей
Уж немного осталось,
Золотых юных дней
Половина промчалась!..

Да, господа, не половина, а *все* промчались!.. Всё назади осталось,— и молодость, и вера, и идеалы...

Чуваев вдруг усмехнулся.

— Ну, оставьте, Василий Михайлович! Какие там идеалы! Пиво-то вот пейте: совсем выдохлось.

Василий Михайлович осекся и опустил голову над столом.

— Нет, что же?.. У нас... идеалы...

— О, господи! Ну, какие у вас «идеалы»?—спросил Чуваев с такою улыбкой, что выдержал бы ее только человек, много и крепко верящий в себя.

Василий Михайлович печально поднялся и стал ходить. Остальные тоже были недовольны. Чуваев вмешался совсем некстати: пива было выпито достаточно, и теперь прежняя недоверчивость исчезла; всем хотелось раскрыть друг перед другом души, каяться в чем-то, даже плакать, пожалуй.

— Нет, господа, что же? Неужто так-таки и не было у нас ничего за душою?—сказал Егоров и сердито покосился на Чуваева.

Чуваев злорадно усмехнулся.

— Было, Алексей Иванович,—кто спорит! Только уж давно быльем поросло... Чего же вспоминать? Всякий заранее знает, что другой скажет: «Эх, господа,—было, а теперь нет... а могло бы быть»... И все-таки не будет... Старая это история, Алексей Иванович, а наше пошехонское дело теперь—пиво пить.

Чуваев попал в точку. Он в двух словах исчерпал то, что другие собирались выразить в длинных речах, о чем готовы были плакать хоть и пьяными, но искренними и горькими слезами. И вот теперь эти накипевшие слезы и речи уперлись в пустое место.

Все неловко молчали. Ветер ударил в окно брызгами дождя, в спальне стукнула ставня... Василий Михайлович ходил по комнате и поглядывал на своих замолкших гостей.

И вдруг он почувствовал, как все они несчастны и, главное, как *одиноко* несчастны, как тяжело им нести это одинокое горе. И что-то горячее шевельнулось у него в сердце, ему захотелось сблизить их всех, хотелось сказать: «Господа! Чуваев прав,—все это так. Но для чего нам обманывать друг друга, для чего давить в себе то, что рвется наружу? Посмотрите, какие мы все измученные, как

темно и холодно на душе! Ведь искра была,—почему же она погасла, почему не разгорелась? Почему жить так тяжело?!.»

Но Василий Михайлович ничего не сказал: он видел, теперь его слова ни в ком не нашли бы отголоска. Чуваев заставил всех очнуться, и каждый поспешил снова пугливо запереться в себе. Все были несчастны,—да; но никто из них не уважал своего горя, да и не стоило оно уважения... Вот это-то последнее с особенною ясностью почувствовал Василий Михайлович: да, горе их—горе дряблое, бездеятельное, ему нет оправдания; стыдиться его нужно, а не нести в люди.

И еще более чуждыми, еще более далекими стали все друг другу...

— А что, господа, ведь пива-то нет больше,—вдруг сказал Егоров.

— Как нет?—испугался Василий Михайлович.—Я велел Матрене полторы дюжины принести, а тут всего десять бутылок.

Он стал искать на окне, под столом, вышел в кухню и разбудил Матрену: оказалось, она не дослышала и принесла только десять бутылок; теперь итти было уже поздно.

— Чорт знает что такое! Хоть бы дюжину, а то какие-то десять бутылок!—с досадою сказал Василий Михайлович. Ну, что же, господа, давайте хоть так что-нибудь еще споем.

Но дело не клеилось. Все опять замолчали. Это не тихий ангел пролетел, а проползало что-то мутное, тяжелое, скверное. В окна смотрела темная ночь, дождь стучал по крыше, в кухне храпела Матрена... Молча все поднялись, молча стали расходиться.

— Пошехонцы едут, цыц!—сердито ворчал Чуваев, пробираясь через огромную лужу на дворе и отмахиваясь зонтиком от собак.

1892

НА МЕРТВОЙ ДОРОГЕ

Измoренный ходьбою и зноем, я сидел с Михайлой на пороге его убогой, крытой соломою сторожки.

Вдали, где степь сливалась с сверкавшим небом, дымились трубы шахт, громыхали товарные поезда. Кругом же все дышало покоем и запустением. За лощинкою, под соломенным навесом, молчаливо ютилась крестьянская шахта, а мимо нас бежала вдаль узкая, пыльная полоса травы, в ней рыжели растрескавшиеся рельсы. Эта заброшенная железная дорога принадлежит крупному углепромышленнику Сохатову и ведет на давно уже выработанный Солодиловский рудник; но Сохатов не снимает рельсов; он рассчитывает заарендовать у крестьян богатый углем участок рядом с Солодиловкой; если же снять рельсы, то придется опять хлопотать об отчуждении земли под под'ездной путь. И вот тянется по степи мертвая дорога. Шпалы погнили, рельсы заржавели и заросли бурьяном; у переезда нет заставы, нет даже столбика. И Михайло одиноко бродит по протоптанной в бурьяне тропинке, оберегая рельсы и шпалы от расхищения.

Был шестой час вечера. Зной стоял жестокий, солнечный свет резал глаза; ветерок дул со степи, как из жерла раскаленной печи, и вместе с ним от шахт доносился острый, противный запах каменноугольного дыма... Мухи назойливо липли к потному лицу, в голове мутилось от жары; на душе накипало глухое, беспричинное раздражение.

Михайло, с трубкою в зубах, сидел рядом и рассказывал мне о своей далекой орловской деревне, о кулаке-старшине, забравшем в руки всю волость.

— Кабак открыл, лавку открыл!.. В волостные старшины попал!..—говорил он, мрачно и негодующе глядя вдаль.—Ребятенками вместе в рюхи играли, а теперь посмотри: пару гнедых завел,—лихие кони, так и ерзают,—ахнешь!.. Заговорят на сходе: «учесть бы его!»—«Ишь,—скажет,—податей не платят, а тоже—*учесть!*.. Разговаривают, сукины дети, заковыривают!..»

Уж больше часу рассказывал мне Михайло о всевозможных бедах и притеснениях, которые ему пришлось претерпеть в жизни. Я слушал и, угрюмо глядя на изнемогавшую от зноя степь, думал о том, что мне не скоро еще можно итти дальше, что еще не один час придется мне провести здесь, пережидая жару. Стыдно признаться, но мало сочувствия вызывали во мне рассказы Михайлы. И степь, бессильно выгоравшая под солнцем, и ленивый, душный воздух, и негодующие сетования Михайлы,—все дышало чем-то таким тоскливым, расслабляющим и безнадежным... Странно было подумать, что где-нибудь теперь свежо и прохладно, что есть на свете бодрые, деятельные и неунывающие люди.

На далеких Афанасьевских копях раздался гудок, на него откликнулась одна шахта, потом другая,—и вскоре вся их дымящаяся цепь загудела на разные тоны деловито-угрюмыми гудками. Откуда-то из-за горизонта чуть слышно донесся звон церковного колокола.

— Ко всенощной звонят,—сказал Михайло, снял шапку и стал креститься.

Колокол продолжал мерно звенеть, и его звон с трудом пробивался сквозь ноющее гудение шахт.

— Нынче ночью отец-покойник приходил ко мне,—помолчав, заговорил Михайло;—в тулупе новом, в новых валенках, другую пару в руках держит.—«Все, говорит, Миша, ноги зябнут, никак не могу согреться»... Панихидку бы надо отслужить...

Михайло задумчиво поглядел вдаль, где медленно струился и переливался горячий воздух.

— Всё помину желают родители, барин, а мы отощали!.. Э-эх!..—тяжело вздохнул он и стал раскуривать погасшую трубку.

Гудки смолкли один за другим. Затих благовест. Только бесчисленные жаворонки звенели и заливались в ярком небе, и казалось,

что это звенит само небо,—звенит однооообразно, назойливо... Да и в небе ли это звенит? Не звенит ли кровь в разгоряченной голове?.. Ковыль волновался и сверкал под солнцем, как маленькие клубы белоснежного пара. По степи шныряли юркие рыжие овражки. Из рудничных труб лениво валил дым и длинными, мутными полосами тянулся по горизонту.

Мимо сторожки прошел худощавый бородатый шахтер в синей блузе, с кожаною сумкою за плечами. Заметив нас, он в нерешительности остановился и вдруг круто повернул к сторожке.

— Дозвольте, господа, немножко посидеть с вами!—произнес он с быстрой улыбкой.—Жарко, нет никакой возможности итти.

— Просим милости!—ответил Михайло.

Я где-то уж видел это нервное лицо с впалыми щеками и странно блестящими глазами, с быстрой, нескладной улыбкой, видимо, очень редко появлявшеюся на губах. Шахтер спустил с плеч сумку, прислонил ее к облупившейся стене сторожки и утер платком потный лоб.

— Никитин, да это вы!—вдруг сказал я.

— Как же! Я самый.

Встречался я с Никитиным, и не один раз, на Мирimановском руднике, в одном из «балаганов», как здесь называют рабочие казармы. Зайдешь в праздник в балаган,—все пьяно, на нарах кипит игра в карты и орлянку, в воздухе одни только скверные слова и слышны; а Никитин молчаливо сидит за столом, склонясь худым лицом над какими-то чертежами; вокруг разложены краски, готовальня, линейки. Заговоришь с ним,—он отвечает очень вежливо, но односложно и сдержанно. Первое время я принимал его за механика, но потом узнал, что он простой шахтер.

Никитин присел на свою сумку и закурил папиросу.

— Вы куда же это направляетесь?—спросил я.

— На Карачевские рудники иду. Взял расчет у Мириманова.

— Что так? Порядки тамошние не нравятся?

— Нет, что же? Где ни работай, все одно... Дело у меня есть в Карачевских рудниках.

— Дело?

— Да... Кое-что надобно там поразведать, посмотреть...

— Т.-е. что же именно?

Никитин уклончиво ответил:

— Так... Свои различные дела.

Уж и раньше несколько раз наши разговоры с ним кончались таким образом. При прежних встречах мне иногда казалось, что Никитину хочется поговорить со мною, а заговоришь,—он вспыхнет и отвечает односложно и уклончиво. Но теперь, повидимому, Никитин решился побороть свою застенчивость. Он покраснел, поправил под собою сумку и оглядел меня быстрым, испытующим взглядом.

— Позвольте вас спросить, я уже давно все собираюсь, хорошо вот, что встретился,—заговорил он, улыбнувшись своею нескладною улыбкою, при чем лицо его покрылось странными морщинками.— Что это, дорого стоит какие-нибудь изображения отпечатать, вот как иконы для продажи печатают, азбуки, царские портреты?

— Т.-е. картины, значит?

— Т.-е., значит... планты!—запнувшись, ответил Никитин.

— Планы?.. Видите ли, хорошо я с этим делом не знаком, но, кажется, это будет стоить не одну сотню рублей.

Никитин молчал, видимо, пораженный.

— Почему же царский портрет за двугривенный можно купить?—спросил он.

Я стал об'яснять. Никитин слушал, задумчиво теребя редкую бороду.

— Почему это вас так интересует?—спросил я.

Никитин встрепенулся, еще раз быстро оглядел меня, откашлялся и начал поспешно развязывать сумку.

— А вот позвольте вас спросить, может, вы мне об'ясните,— сказал он и вытащил из сумки небольшую иллюстрированную азбучку.—Извольте смотреть! Все у нас в России пропечатано: гуси... девочки вот... коровы... солдаты... хомуты... Почему нету плантов?

— Каких плантов?

— А рудников!

— Для чего же их печатать?

Никитин удивился.

— Для чего? Для нравоучения!

Мы молча уставились друг на друга.

— Я вас не понимаю. Какое же в планах нравоучение?

— В них большое нравоучение состоит!.. Вы вот в рудник спускались, видали все; есть там вентиляция, позвольте вас спросить?

— Есть.

— Есть?.. Там вентиляция такая, что есть ли она, нет ли,— все одно. Только для виду печи стоят. Почему это, позвольте спросить, если на поверхности работать, то работай, сколько хочешь, и ничего тебе не будет, а в шахте час посидишь,—и начнешь черной харковиной плевать? Тут причина вот какая: току воздуха дается неправильное направление, поэтому газам некуда уходить, они и идут в середину к человеку. Я вам сейчас все это об'ясню.

Никитин достал из сумки толстый сверток и развязал его. В нем оказалось около десятка больших, довольно неумело начерченных и раскрашенных планов. Развертывая передо мною один план за другим, Никитин стал об'яснять мне, в чем заключаются недостатки вентиляции в шахтах. Я незнаком с вопросом о рудничной вентиляции, но чувствовалось мне, что критика Никитина представляет собою что-то крайне нелепое. Впоследствии я рассказывал о своем разговоре с ним нескольким инженерам, и все они нашли, что указания Никитина в корне игнорировали самые элементарные правила горного искусства.

— Вот в чем все дело!—закончил Никитин свои об'яснения.— Это все на плантах видно, всякий сразу бы понял, кабы пропечатать... Азбуки вот у нас печатают, ситцы печатают,—отчего же не печатают плантов?.. Двенадцать часов народ в шахте сидит, а дышать ему нечем. Воротится шахтер домой и помрет. Вы взрежьте его, посмотрите,—у него все кишки пропитались газом... Вот отчего нашего народу рассейского так много помирает!

— До-овольно его, хватит!—с усмешкою произнес Михайло.— Хлеба нет, есть нечего... Погляди, наделы-то какие стали: курице ступить некуда.

— «Хватит»!.. А вот помрешь,—дети останутся,—сдержанно возразил Никитин.

— Э, живы будут—и сыты будут,—сказал Михайла, махнув рукою.—Вырастут, сами работать станут.

— Вы и в Карачевские рудники для того поступаете, чтоб план снять?—спросил я Никитина.

— Для этого самого. Я уже расспрашивал ребят: много непорядков там! Дождутся взрыва, как Иловайские! Слыхали, в Иловайском руднике зимою взрыв был? Двенадцать человек побило газом!.. Это что же такое? Должны бы они смотреть, или нет? Навесть хотели,—и навели, и сделали дело... *Двенадцать человек* погубили!.. А все оттого, что вентиляции нет.

— Разве от этого? А я слышал,—оттого, что работы производились без предохранительных ламп.

— Нет, тут дело не в лампах! Лампы что!.. Тут штука вот какая: вентиляции настоящей не было. Я вам сейчас все это правильно докажу.

Никитин порылся в свертке, достал план рудника Иловайских.

— Извольте смотреть: вот она нижняя продольная идет, вот она—верхняя. По *мдштабу* в каждой пятьдесят сажен длины. По ним какой ветер должен бы ходить? Чтоб шапки срывал! А у них народ задыхается. Почему тут просека нет, позвольте спросить? От бремсберга должен во всю длину просек итти к вентиляционной печи,—где он?—Никитин спрашивал отрывисто и строго, словно обращался к невидимому подсудимому.—Почему воздушная шахта в стороне поставлена?.. Я им все это в подробности об'яснил, письмо послал. Неделю жду, другую,—не шлют ответа. Пошел сам... «Получили письмо?»—При этом Никитин грозно нахмурил брови; затем откинул голову и, прищурив левый глаз, протянул медленно и высокомерно:—По-лу-чи-ли, но нам нет надобности давать вам ответ.—«Поч-чему нет надобности?!»—Потому что это дело до вас не касается.

Никитин замолчал и выжидательно взглянул на меня своими странно блеставшими глазами.

— Позвольте спросить: как это, принадлежно к их званию?

Я с сожалением пожал плечами.

— Разумеется, этого и следовало ожидать. С какой стати они вам будут давать ответ?

— Небось, как планты пропечатают, так придется ответ дать.

— Да и тогда навряд ли придется.

Я стал доказывать Никитину совершенную бесцельность и ненужность его предприятия: планов его никто и покупать-то не станет, если же купит, то все равно ничего не поймет; о тяжелом положении шахтеров уже много писалось в газетах, а дело все идет попрежнему: изданием планов тут мало поможешь... Михайло сочувственно поддакивал. Никитин оживился; на самолюбивом лице выступили красные пятна, глаза враждебно заблестели.

— Как это вы можете говорить, что ничего понять нельзя?— возражал он.—Тут всякий может понимать! Извольте смотреть.

И он разворачивал передо мною один план за другим и взволнованно водил пальцем по желтым, красным и серым квадратикам, по непонятным для меня надписям: «квершлаг», «бремсберг», «капитальный просек» и т. п. Для Никитина эти планы, в которые он вложил столько любви и труда, видимо, дышали жизнью; ему казалось, достаточно любому взглянуть на них, чтоб сразу получить яркое представление о тяжелой судьбе шахтера. Я видел, разубеждать Никитина было бесполезно: слишком уж он сжился с своим делом, чтоб так легко отказаться от него.

— Ну, во всяком случае, дай вам бог удачи!—сказал я.—Если обратят внимание на ваши планы, то вы сделаете хорошее дело... Вы что же, сами собираетесь издать их?

— Обязательно!—неумолимо ответил Никитин, словно я просил его пощадить тех, для кого он готовил удар изданием своих планов.—Разве все эти безобразия возможно дозволять? Не-ет!..

Он быстро свернул планы и молча, не глядя на меня, стал укладывать их в сумку; увязал сумку, надел на плечи.

Я спросил:

— Что это, вы уж итти собираетесь? Ведь жарко еще. Посидели бы, переждали, пока жар спадет.

— Время итти: и так дай бог к ночи поспеть... Просим прощения.

Никитин угрюмо приподнял фуражку, поправил ремни на плечах и пошел к рудникам.

— Тоже—планты печатать собрался!.. Землемер!..—Михайло иронически глядел ему вслед.—Вот как наладит его хозяин по шеям, чтоб не в свое дело не совался, так забудет о плантах думать!

Он выбил о порог выгоревшую трубку, стал набивать ее табаком. Никитин, миновав соломенный навес крестьянской шахты, быстро и нервно шагал по пыльной дороге.

— Прошибешь их плантами! Вон у нашего хозяина,—поди-ка, погляди, в каких конурах народ живет! Собаку в такую землянку загнать совестно, а у него в каждой по два семейства да по два нахлебника живет. Зайдешь в землянку осенью,—грязь, слякоть, хлев настоящий, народу, что снопов в скирде... А на Солодиловке вон огромадные здания пустые стоят, ч-чорт их душит!..

И опять полился поток суровых обличений. И вдруг я опять почувствовал, как кругом жарко, душно и тоскливо... Солнце жгло без пощады и отдыха; нечем было дышать, воздух был горячий и влажный, как в бане; ласточки низко носились над степью, задевая крыльями желтую траву. Никитин уж исчез из виду. Вдали, на дороге, длинною полосою золотилась пыль, в пыли двигался обоз с углем. Волы ступали, устало помахивая светло-серыми головами, хохлы-погонщики, понурившись, шли рядом. Все изнемогало от жары...

А Михайло, попыхивая трубкою, неутомимо рассказывал о бесчисленных злоупотреблениях здешних углепромышленников,—и роптал, роптал без конца...

Кругом стало темней. По степи пошла тень. Воцарилась странная тишина.

Михайло прислушался и сказал:

— Никак гроза идет.

Я вышел в степь. С запада медленно, словно подкрадываясь, ползли по небу тяжелые грязно-желтые и лиловые тучи; чуть слышно погромыхивал гром. Все вокруг примолкло, ветер упал. А далеко на западе, по дороге, вился и клубился огромный столб золотистой пыли; на глаз этот столб двигался медленно, но чувствовалось, что он мчится с страшною быстротою. Вот он захватил и окутал могилу у перекрестка... Вдруг кругом все завыло и засвистело. От крестьян-

ской шахты взвилась туча черной пыли и смешалась с набежавшим золотистым вихрем. Трудно было стоять на ногах, пыль залепляла глаза, набивалась в рот. Громадные клубы ее, словно спеша куда-то, неслись между шахтой и сторожкой, перебегая наискось рельсы и исчезали за балкой. Сквозь пыль едва видны были на дороге тени обоза; хохлы стояли на фурах и, согнувшись, поспешно надевали развевавшиеся по ветру свиты; волы склонили свои красивые рогатые головы навстречу вихрю. Вдруг резко блеснула молния, по небу, с запада на восток, с оглушительным, прерывистым треском пронесся гром, повернул обратно и с глухим грохотом скатился за шахту. Хлынул дождь...

Дождь хлынул крупный, частый; он с силою забил по земле, заволакивая ее мелкою водяною пылью. Даль замутилась, все небо стало ровного серого цвета, и только на юге шевелились и быстро таяли мутные клочья туч. Свежий ветер мчался по степи, в брызги разбивал сплошные струи дождя, и, казалось, какие-то туманные тени несутся под дождем в сырую даль. Молнии то и дело сверкали малиновым светом, гром весело катался по небу из конца в конец. Перед сторожкою образовалась большая лужа; она росла, вздувалась и, обогнув полынные кусты, медленно поползла по дороге, оставляя за собою грязный, пенистый след.

Мы с Михайлой сидели в сенцах сторожки,—он на боченке из-под кваса, я на скамейке. В дверь тянуло бодрящею, влажною прохладою; грудь жадно дышала. Михайло оживился: его суровое, всегда нахмуренное лицо смотрело теперь мягко и радостно.

— Вот так дождичка бог послал! Гляди-ка, как теперь яровые подымутся!.. Гляди-ка, как пшеница зацветет!..

Я слушал с невольною улыбкою, и в то же время сжималось сердце от жалости к Михайле; он сиял таким довольством, таким торжеством, как-будто и ему самому дождь сулил невесть какие выгоды; но я прекрасно знал, что ничего здесь у Михайлы нет, кроме тянущейся перед нами ржавой, гнилой дороги, заросшей негодным бурьяном.

На тропинке показалась женщина в выцветшем голубом платочке, с котомкою за плечами. Она бежала, согнувшись и опустив голову, обливаемая дождем; ветер трепал мокрую юбку, липнувшую к ногам. Путница через лужи добежала до нашей сторожки и, охая, вошла в сенцы.

— О, господи-батюшка!.. Вот дождик-то полил!—проговорила она, тяжело дыша.—Уж и не чаяла добежать... Здравствуйте, господа честные!

— Эк тебя промочило!—соболезнующе воскликнул Михайло.

— Да уж бежала, бежала... Вижу, тучки идут, а укрыться некуда. Спасибо, хатка ваша по дороге встрелась.

Она спустила с плеч котомку, поставила в угол и положила на нее свою белую камышевую трость с жестяным набалдашником; потом подошла к двери и стала выжимать мокрый, отрепанный подол юбки. Лицо у путницы было худое, почти черное от загара, и на нем странно белели белки глаз.

— Льет, льет дождик—не судом божиим!..—усталым голосом произнесла она и села на опрокинутый дощатый ящик.—Дорога-то эта на Таганрог идет, ай нет?

— На какой Таганрог! На Солодиловку дорога идет.

Путница огорченно покачала головою.

— То-то я все смотрю; что это, словно... А мне в Ясиноватой сказали,—на Таганрог.

— Тут дальше Солодиловки-то и дороги нету... Как же это ты так? Спросила бы толком, поразведала.

— Так, видишь ты, спрашивала я; сказали,—сюда итти.

— На Константиновку надобно было тебе итти, вот куда.

— То-то на Костентиновку, значит! А мне говорят,—сюда.

— Зачем сюда? Нет... На Таганрог здесь не пройти. Надобно было тебе толком спросить,—всякий бы показал. Тут и малый ребенок не скажет плохо. Придется назад ворочаться тебе.

Путница вздохнула.

— Задаром сколько верст прошла! И так уж идешь-идешь, не знаешь, когда конец будет. Ноги опухли, язвы по ним пошли...

— А издалека идешь?

— Из Иерусалима.

— На богомолье ходила?

— На богомолье.

— В пути-то вам долгонько пришлось побыть!—сказал я.

— Да вот от Одессы никак седьмые сутки иду. Еще спасибо кондуктору, подвез на машине,—рубль и два двугривенных взял... Тяжело теперь итти. Вышли мы осенью, тогда хорошо было, дожди шли. А теперь земля твердая,—сил нет, жарко... А все-таки лучше, чем по морю,—прибавила она, помолчав.—Вот где мук-то натерпелись! Качает пароход, народу много, скот тут же; все на одну сторону сбиваются. Рвет всех, духота... Вспомнишь, тяжко становится!

— А в Иерусалиме жарко было?

— Жарко... Мы там больше от воды пропадали. Воды мало там; и холодную, и горячую турки продают за деньги. Вода тяжелая, вредная. Много там с нее нашего народу померло.

— Там что же, турки всё?—с любопытством спросил Михайло.

— Больше турки. Сурьезный народ, всё, знай, молчат. Ходят они бо́сые; какие ни будь острые камни, никогда не обуются. Скажи им: «хорошо—нет!»—это им приятно.

— Ишь! Любят!—засмеялся Михайло.

— Да...—улыбнулась богомолка.—Греки тоже есть. Они нашей веры, а только ничего не поймешь, что́ они, прости господи, лопочут: «ерасиха! ерасиха! ерасиха! Ерань! ерань!» А то еще: «берша! берша!» И патриах-батюшка то же самое, по-грецки. Погодите, вот я вам его сейчас в панораме покажу.

Она развязала котомку, достала плохонький стереоскоп и пачку фотографий. Мы перешли к порогу, ближе к свету. Теперь дождь моросил лениво и скупо, тучи уходили на восток, и перекаты грома доносились издалека.

Богомолка вынула из пачки двойную стреоскопическую фотографию иерусалимского патриаха.

— Вот он патриарх-батюшка!.. В панораме они двое в одно пойдут. Дай-ка, я его вставлю. Шибко хорошо в панораме выходит! К свету только ладьте.

Стекла в стереоскопе были пузырчатые и мутные, видно в них было плохо. Богомолка стала нам показывать другие фотографии, с видами святых мест. Мы смотрели в стереоскоп, а богомолка давала об'яснения.

— Дуб мамврийский,—он в панораме большой оказывается... А это будет град Вифлеем, где Христос родился... Гроб господень изнутри... В этом самом гробе в Христову пятницу благодатный огонь с неба сходит.

— Мне приходилось об этом слышать, что огонь сходит. Скажите, вы сами не видели этого?—спросил я.

— Как же не видела?.. Вот придет Христова пятница, народу сойдется видимо-невидимо. Приедет патриарх,—видали его в панораме?.. Турки его сейчас разденут до рубашки, осмотрят всего, обыщут, нет ли где спичек, и запирают в гроб господень. Он стоит там, молится, а мы ждем, не шелохнемся. Вдруг в дырочку ударяет с неба молонья. Турки отпирают гроб,—патриах выходит, а в руке у него свеча горит. Тут у всех такой восторг подымается! Ревут, ревут, как ребятишки малые... Особенно арапы, нашей веры,—таких много; так те смотрят, друг дружке на плечи позабираются... Колоколов там мало, и они в церкви самой висят; тоже в доски такие бьют. Так вот, как выйдет патриарх со свечой, сейчас—в палки, в доски, в музыки эти!.. Арапы пляшут, в ладоши щелкают... Все зажигают себе свечи,—по тридцать три свечки у каждого, вокруг руки навязаны,— и начинается служение... И ведь какой, парни, огонь-то! Вот так водишь свечой (рассказчица быстро развязала узел головного платка и подняла загорелый подбородок, резко отделявшийся от белой шеи), водишь, водишь, кажись, все спалило бы; а ничего не жжет!

— Не жжет?!—с одушевлением спросил Михайло.

— Ни капельки!.. Другой арап в безумие придет,—огнем этим в живот себя тыкает, в лицо,—и ничего... От всяких болезней этот огонь помогает.

На дворе начинало темнеть. Дождь прекратился, но небо было покрыто окладными тучами; с крыши капало. Кругом трещали сверчки, в соседней балке слабо и неуверенно щелкала камышевка, неумело подражая соловью.

— Однажды не захотели, чтоб православным огонь достался,— продолжала богомолка, помолчав.—Сговорились все: не пускать! Вот стали они в церкви, заперлись все: турки, католики, армяне и четвертые... То ли скопцы, то ли, я уж не знаю кто. Кажется, словно... Ко-оп... Нет, уж не знаю, не могу назвать.

— Копты?

— Да, да, копты! Стоят... А русские возле церкви. Вдруг с неба молонья, все свечи у русских зажгла. А те стояли-стояли, не дождались ничего. Выходят, а у русских свечи горят. С той поры стали пускать.

— Пустишь, брат, как без русских ничего не сможешь сделать!—негодующе сказал Михайло.—Они тоже—рады православного человека обидеть! Вон земляк у нас с войны воротился, сказывал; что̀ они там делали, турки эти,—не накажи, господи! Православных христиан, что баранов, свежевали; кишки им выпускали, на огне жарили!

Богомолка задумчиво выслушала Михайлу, видимо, носясь мыслью далеко.

— Уж чего-чего там ни насмотришься!—снова заговорила она.— Ей-богу, смотришь—и сама не знаешь, что это с тобою: и у́жасно както, и весело... Золотые ворота там есть, теперь их турки камнями заклали; в эти ворота Христос в'езжал на осле. Евреи ему стлали по дороге бархаты-шелки, а он говорит; «Не поеду по бархатам-шелкам, поеду по вербам, что̀ мне дети настлали». Евреи смотрят,— «зачем, говорят, он по вербам едет,—царь, что ли?..» Хотели детей поразогнать.... Только Христос им этого не дозволил, говорит: «Не препятствуйте им! Если, говорит, воспрепятствуете, то *аще камни возопие*!..» И что же, миленькие вы мои? Так до сего времени все те камушки, разинувши рты, и лежат!..

Богомолка долго еще рассказывала. Много было странного и наивного, но она относилась ко всему с таким глубоким благоговением, что улыбка не шла на ум. Лицо ее смотрело серьезно и успокоенно, как бывает у очень верующих людей после причастия. Видимо, из своего долгого путешествия, полного тяжелых лишений, собеседница наша несла с собою в душе нечто новое, бесконечно для

нее дорогое, что всю ее остальную жизнь заполнит теплом, счастьем и миром.

Я спросил ее:

— А довольны вы, что удалось вам побывать в святой земле?

— Как же нет? Ведь всё там... всюду все осмотрела. На страшный-то суд, небось, туда же потребуют, в те местности.

— Разве туда?—удивился Михайло.

— А как же?.. Из пропасти под Давидовым домом серный пламень забьет, но Асафатовой долине огненные реки потекут, трубы вострубят, мертвые воскреснут. Христос в Золотые ворота в'едет и начнет судить.

Богомолка помолчала.

— Нам там говорил отец Парфентий один, святой жизни,— сказала она, понизив голос.—Богом взысканный... Мы у него на исповеди были. Строго исповедует! «Все,—говорит,—говори, не утаи чего перед господом-богом...» Ну, все ему и рассказываешь. Выслушает, вздохнет. «Велики,—говорит,—грехи твои, поклонница божия!..» Ничего больше не скажет, уйдет в алтарь—и плачет, плачет, навозрыд рыдает; в грудь себя бье-ет!.. Так вот он нам говорил: «Рабы божие, поклонники и поклонницы! Жизнь наша недолга, концы к концам приходят!..»

— Видишь ты!—воскликнул Михайло и широко раскрыл глаза.

— Да-а... Недолго, значит, ждать будем. А там уж каждый давай ответ, как следует: как жил? благочестиво ли? Там уж все раскроется.

Все замолчали.

— Теперь говорим: «трудно жить»... Трудно? А то ли еще тогда будет!—проговорила богомолка.

Михайло сокрушенно вздохнул.

Из-за туч выглянул месяц. Степь тонула в сумраке, только ковыль за дорогою белел одинокими махрами и тихо, как живой, шевелился. На горизонте дрожало зарево от доменных печей завода, с рудника доносился мерный стук под'емной машины.

1896

ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА

Воронецкий сидел на скамейке в боковой аллее Александровского сада и читал «Новое Время». Солнце сильно клонилось к западу, но в воздухе было знойно и душно; пыльные садовые деревья не шевелились ни листиком; от Невского тянуло противным запахом извести и масляной краски. Воронецкий опустил прочитанную газету на колени, взглянул на часы: было начало восьмого. К одиннадцати часам ему нужно было быть в Лесном; чем наполнить эти остающиеся три часа?

Из знакомых в Петербурге нет ни души,—все раз'ехались по дачам; к себе же домой Воронецкого не тянуло. Он хотя и любил свою изящно убранную, уютную холостую квартиру на Пушкинской, но просидеть в ней одному целых три часа, да еще вечером, было слишком скучно: что там делать? Правда, Воронецкий давно уже собирался познакомиться с философией и купил себе для этой цели «Историю новой философии» Фалькенберга, но дальше четвертой страницы введения никак не мог пойти; там была одна фраза, на которой его раза два отвлекли от чтения и с которой он каждый раз начинал читать снова; фраза эта очень надоела Воронецкому; прочтет ее,—и у него пропадает охота читать дальше. И он отложит Фалькенберга в сторону и возьмется за Мопассана или Армана Сильвестра... Скучны эти летние вечера в Петербурге!

Воронецкий лениво поднялся, вышел из сада. На углу Гороховой, в витрине, пестрели за проволочной сеткой разно-

цветные афиши летних садов и театров. Он подошел и стал читать. Яркозеленая афиша сообщала, что в саду «Амуровы Стрелы» идет сегодня на открытой летней сцене «Прекрасная Елена» («Большой успех! Популярная оперетта!»). В дивертисменте обещалось участие «знаменитой куплетистки г-жи Лины Гиммельблау—звезды Вены и Берлина» (неделю назад, как помнил Воронецкий, она титуловалась звездою одной лишь Вены). В конце стояло:

Ново!!! Оригинально!!!
В первый раз в мире!
Дебют каскадной девицы
г-жи Чернооковой.

Воронецкий усмехнулся, сел на извозчика и поехал в «Амуровы Стрелы».

В Лесном, куда сегодня вечером собирался Воронецкий, жил на даче его университетский товарищ Можжелов, учитель математики, недавно переведенный из провинции в Петербург. Воронецкий искренно любил его, но не мог без иронической улыбки представить себе его фигуру с добродушною, обросшею волосами физиономией, конфузливым смехом и быстрою, запинающеюся речью. Можжелов остался совсем таким, каким был студентом: попрежнему в каждом извозчике и дворнике видел «брата», попрежнему горячо рассуждал о Спенсере и Марксе, Михайловском и Николае—оне. Как ему все это не надоело, и к чему они, эти рассуждения? Что для него, кроме чисто-теоретического, совершенно бесплодного интереса, представляет вопрос о том, как развивается личность, и в какой закоулок грозит завести нас нарождающийся капитализм? Жена Можжелова, Анна Сергеевна,—молоденькая провинциалка с прекрасными, задумчивыми глазами и немножко застенчивая,—повидимому, порядком-таки скучала, слушая бесконечные речи мужа; и когда Воронецкий, остроумный и бывалый, начинал что-нибудь рассказывать или шутливо поддразнивать Анну Сергеевну, она видимо оживлялась.

Однажды Воронецкий, разговаривая с нею, поймал на себе ее долгий и пристальный, какой-то особенный взгляд, давно уже

знакомый ему в женщинах; и у него вдруг явилось желание обладать Анной Сергеевной, и в то же время пропало уважение к ней. Все дальнейшее было давно и хорошо известно Воронецкому: она будет бороться с собой, будет мучиться, придется понемногу брать с бою все, начиная с поцелуя. Два раза ему уже удалось поцеловать ее. Вчера Анна Сергеевна нечаянно проговорилась, что ходит по вечерам в парк, к пруду, слушать соловьев. Воронецкий об'явил, что он тоже очень любит соловьев и завтра в одиннадцать часов вечера приедет в парк. Услышав это, Анна Сергеевна побледнела и опустила глаза.

— Ну, смотрите же, приходите и вы!—властно шепнул Воронецкий, прощаясь с нею. И он знал, что Анна Сергеевна придет.

Воронецкий под'ехал к «Амуровым Стрелам».

Когда он вошел в сад, первый акт уже начался. Калхас, плешивый и краснорожий, осматривал подношения богам и, разочарованно качая головою, говорил: «Слишком много цветов!..» Воронецкий пробрался к своему месту, отвечая высокомерным взглядом на недовольные ворчания потревоженных зрителей.

Действие тянулось вяло. Елена, хорошенькая, полная блондинка с подрисованными глазами, величественно закидывала голову и говорила неестественным, театральным голосом; Парис, с неприятными чувственными губами под светлыми усиками, то и дело растерянно поглядывал на публику. Остальные исполнители были не лучше. Сносен был только Менелай, полный, дряхлый старик, с чрезвычайно доброю улыбкою, шамкающим голосом и землистым лицом, в короне и зеленоватой тунике. Зрителей на сидячих местах было немного. К барьеру теснились безбилетные гуляющие. Воронецкому бросились в глаза два молодых парня в пиджаках и новых картузиках; они жадными и удивленными глазами следили за Еленой, машинально вытягивая головы каждый раз, когда при повороте сквозь боковой разрез туники мелькало ее розовое бедро.

Калхас об'явил, что боги повелевают Менелаю ехать в Крит; на Менелая надели смешной капюшон, дали ему в руки разноцветный зонтик, чемодан, и Менелай стал прощаться. Первое действие кончилось.

Воронецкий, недовольно кусая усы, вышел в сад; он любил оперетку, потому что она приятно щекочет нервы, потому что она создает вокруг атмосферу чего-то остроумного и изящно-чувственного; здесь же актрисы были глупы, статистки, с унылыми и некрасивыми лицами, не пикантны.

Воронецкий сел к столику и спросил глинтвейну. Военный оркестр играл «Тореадора и андалузку», кастаньеты щелкали. Немногочисленные посетители вяло бродили по дорожкам. Прошел высокий, изящно одетый молодой человек, ведя под руку стройную даму с напудренным лицом; важно прошли два парня, которых Воронецкий видел у барьера,—прошли, ступая носками внутрь и чинно опираясь на зонтики; у парней были здоровые и наивные деревенские лица; в Воронецком шевельнулось глухое раздражение, когда он вспомнил тот животный, плотоядный взгляд, каким они смотрели на сцену. Он нахмурился и, прихлебывая горячий глинтвейн, стал просматривать программу.

Раздался звонок, призывавший к сцене. Воронецкий занял свое место. Занавес поднялся, по сцене снова заходили актеры и актрисы, жестикулируя и неестественно разговаривая. Елена, в светло-голубой шелковой тунике, вышла на авансцену и запела:

«Все говорят»...

Пела она значительно лучше, чем играла. Глаза ее вызывающе блестели, вся она вдруг задышала чем-то порочным и увлекательным; изогнувшись красивым, полунагим телом, щурясь и лукаво улыбаясь, она пела:

Вот, например, с моей мамашей:
Когда к ней лебедь подплывал,
Который был моим папашей,—
Кто б устоял?
Кто б устоял?

И, невинно подняв брови, Елена беспомощно разводила руками...

Воронецким стало овладевать настроение, которое он так любил: голова слегка кружилась от выпитого глинтвейна, женщины облеклись ореолом изящной и поэтической, зовущей к себе красоты... И перед ним встал темный парк в Лесном с соловьями, заливающи-

мися над прудом, и замирающей от волнения Анной Сергеевной, ждущей его у мостика. Теперь плохая игра перестала раздражать Воронецкого: он улыбался, глядя, как Парис в дуэте с Еленой, страстно обнимая ее, сам косил глаза, внимательно и робко следя за дирижерскою палочкой, как он начал понемногу увлекать Елену к кушетке, при чем оба они то и дело осторожно оглядывались, чтобы не споткнуться. Наконец Елена благополучно упала на кушетку, и Парис, став на колено, припал к Елене долгим поцелуем.

Дверь открылась и вошел Менелай, с зонтиком и чемоданом, улыбаясь своею доброю старческою улыбкою. Воронецкого странно поразила эта улыбка, вовсе не шедшая к оперетке. Менелай увидел жену в об'ятиях Париса. Он отступил, с ужасом вытаращил глаза, весь дрожа, и вдруг глухим, дряхлым голосом, широко открывая беззубый рот, закричал:

— Кар-раул!!.

Два парня, стоявшие у барьера недалеко от Воронецкого, засмеялись. Парис и Елена вскочили на ноги, Парис бросился к Менелаю и стал убеждать его не кричать. А Менелай, задыхаясь, метался по сцене, бессмысленными, страдающими глазами глядел на уговаривавшего его Париса и продолжал кричать: «караул!..» Такой игры Воронецкий никогда не видел в «Елене», и Менелай не был смешон...

Толпою вошли греческие цари.

— Где моя честь?—проговорил Менелай, растерянно оглядываясь.

— Где твоя честь?—хором запели цари, театрально подняв вверх правые руки.

— Где моя... ч-честь?—повторил Менелай, губы его запрыгали, и он заплакал, жалко скосив лицо,—заплакал дряхлым, бессильным плачем.

Это было удивительно. В убогом садике, на убогой сцене, никому неведомый актер вдруг перевернул все, и там, где по ходу действия и по замыслу композитора нужно было смеяться над рогоносцем, хотелось плакать над несчастным старым человеком с разбитой верой в женщину и в правду...

Занавес опустился, толпа сквозь узкие проходы повалила в сад. Воронецкий медленно прошел аллею. Сел на чугунную скамейку, закурил папиросу. На душе было тяжело и неприятно; он курил и наблюдал гуляющих, стараясь не замечать овладевшего им неприятного чувства. В будке военный оркестр играл попурри из «Фауста». Корнет-а-пистон вел арию Валентина, и в вечернем воздухе мелодия звучала грустно и задушевно.

Бог всесильный, бог любви,
О, услышь мою мольбу:
Я за сестру тебя молю,
Сжалься, сжалься ты над ней!..

Над головою тихо шумели деревья, заря гасла, небо было чистое, нежное. В густой зелени серебристых тополей заблестели электрические фонари. Воронецкий посмотрел на часы: половина одиннадцатого; пора было ехать в Лесной. Он вышел из сада и взял извозчика на Выборгскую, к Лесной «конке».

Была белая ночь. Дворники, кутаясь в сермяжные халаты, дремали у ворот; улицы пустели; изредка проезжал извозчик, или, как тень, проносился велосипедист, давая на поворотах резкие, короткие звонки.

Воропецкий проехал узкую Казанскую, бессонный Невский, повернул на Литейный; под догоравшей зарей блеснула далекая гладь Невы. Буксирный пароход, мерцая зеленым фонарем, бесшумно поворачивал к берегу, оставляя за собою тускло сверкавшую струю. Воронецкий следил за ним угрюмым взглядом; приятное настроение его исчезло и не возвращалось; прелесть предстоящего свидания потускнела.

Извозчик выехал на Сампсониевский проспект. Паровая «конка» только-что отошла; гремя и плавно колыхаясь, поезд быстро исчезал в сумраке белой ночи. Следующий поезд должен был итти через полчаса.

— Прибавили бы, барин, полтинничек,—свез бы вас в Лесной,—сказал извозчик.

Воронецкий некоторое время в колебании смотрел в даль Сампсониевского проспекта.

— Пошел на Пушкинскую!—вдруг отрывисто сказал он.

Извозчик повернул обратно.

Воронецкий ехал, прикусив губу и сдерживая презрительную усмешку: он сам себе был невыразимо смешон, что не поехал в Лесной.

1896

БЕЗ ДОРОГИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

20 июня 1892 г. С-цо Касаткино.

Теперь уже три часа ночи. В ушах звучат еще веселые девические голоса, сдерживаемый смех, шопот... Они ушли, в комнате тихо, но самый воздух, кажется, еще дышит этим молодым, разжигающим весельем, и невольная улыбка просится на лицо. Я долго стоял у окна. Начинало светать, в темной, росистой чаще сада была глубокая тишина; где-то далеко, около риги, лаяли собаки... Дунул ветер, на вершине липы обломился сухой сучок и, цепляясь за ветви, упал на дорожку аллеи; из-за сарая потянуло крепким запахом мокрого орешника. Как хорошо! Я стою и не могу насмотреться; душа через край переполнена тихим, безотчетным счастьем.

> И грудь вздыхает радостней и шире,
> И вновь кого-то хочется обнять...

Кругом все так близко знакомо,—и очертания деревьев, и соломенная крыша сарая, и отпряженная бочка с водой под липами. Неужели я целых три года не был здесь? Я как-будто видел все это вчера. А между тем, как долго шло время...

Да, мало что хорошего вспомнишь за эти прожитые три года. Сидеть в своей раковине, со страхом озираться вокруг, видеть опасность и сознавать, что единственное спасение для тебя—уни-

чтожиться, уничтожиться телом, душою, всем, чтоб ничего от тебя не осталось... Можно ли с этим жить? Невесело сознаваться, но я именно в таком настроении прожил все эти три года.

«Зачем я от времени зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня». Мне часто вспоминаются эти гордые слова Базарова. Вот были люди! Как они верили в себя! А я, кажется, настоящим образом в одно только и верю,—это именно в неодолимую силу времени. «Зачем я от времени зависеть буду!» Зачем? Оно не отвечает; оно незаметно захватывает тебя и ведет, куда хочет; хорошо, если твой путь лежит туда же, а если нет? Сознавай тогда, что ты идешь не по своей воле, протестуй всем своим существом,—оно все-таки делает по-своему. Я в таком положении и находился. Время тяжелое, глухое и сумрачное со всех сторон охватывало меня, и я со страхом видел, что оно посягает на самое для меня дорогое, посягает на мое миросозерцание, на всю мою душевную жизнь... Гартман говорит, что убеждения наши—плод «бессознательного», а умом мы к ним лишь подыскиваем более или менее подходящие основания; я чувствовал, что там где-то, в этом неуловимом «бессознательном», шла тайная, предательская, неведомая мне работа, и что в один прекрасный день я вдруг окажусь во власти этого «бессознательного». Мысль эта наполняла меня ужасом: я слишком ясно видел, что правда, жизнь—все в *моем* миросозерцании, что, если я его потеряю, я потеряю все.

То, что происходило кругом, лишь укрепляло меня в убеждении, что страх мой не напрасен, что сила времени—сила страшная и не по плечу человеку. Каким чудом могло случиться, что в такой короткий срок все так изменилось? Самые светлые имена вдруг потускнели, слова самые великие стали пошлыми и смешными; на смену вчерашнему поколению явилось новое, и не верилось, неужели *эти*—всего только младшие братья вчерашних? В литературе медленно, но непрерывно шло общее заворачивание фронта, и шло вовсе не во имя каких-либо новых начал,—о, нет! Дело было очень ясно: это было лишь ренегатство,—ренегатство общее, массовое и, что всего ужаснее, бессознательное. Литература тщательно оплевывала в прошлом все светлое и сильное, но

оплевывала наивно, сама того не замечая, воображая, что поддерживает какие-то «заветы»; прежнее чистое знамя в ее руках давно уже обратилось в грязную тряпку, а она с гордостью несла эту опозоренную ею святыню и звала к ней читателя; с мертвым сердцем, без огня и без веры, говорила она что-то, чему никто не верил...

Я с пристальным вниманием следил за всеми этими переменами; обидно становилось за человека, так покорно и бессознательно идущего туда, куда его гонит время. Но при этом я не мог не видеть и всей чудовищной уродливости моего собственного положения: отчаянно стараясь стать *выше времени* (как-будто это возможно!), недоверчиво встречая всякое новое веяние, я обрекал себя на мертвую неподвижность; мне грозила опасность обратиться в совершенно «обессмысленную щепку» когда-то «победоносного корабля». Путаясь все больше в этом безвыходном противоречии, заглушая в душе горькое презрение к себе, я пришел наконец к результату, о котором говорил: уничтожиться, уничтожиться совершенно—единственное для меня спасение.

Я не бичую себя, потому что тогда непременно начнешь лгать и преувеличивать; но в этом-то нужно сознаться,—что такое настроение мало способствует уважению к себе. Заглянешь в душу,—так там холодно и темно, так гадко-жалок этот бессильный страх перед окружающим! И кажется тебе, что никто никогда не переживал ничего подобного, что ты—какой-то странный урод, выброшенный на свет теперешним странным, неопределенным временем... Тяжело жить так. Меня спасала только работа; а работы мне, как земскому врачу, было много, особенно в последний год,—работы тяжелой и ответственной. Этого мне и нужно было; всем существом отдаться делу, *наркотизироваться* им, совершенно забыть себя,—вот была моя цель.

Теперь служба моя кончилась. Кончилась она неожиданно и довольно характерно. Почти против воли я стал в земстве каким-то enfant terrible; председатель управы не мог равнодушно слышать моего имени. Подоспел голодный тиф; я проработал на эпидемии четыре месяца и в конце апреля свалился сам, а когда поправился... то оказалось, что во мне больше не нуждаются.

Дело сложилось так, что я *должен* был уйти, если не хотел, чтоб мне плевали в лицо... Э, да что вспоминать! Я взял отставку и вот приехал сюда. Забыть все это!..

Большая зала старинного помещичьего дома, на столе кипит самовар; висячая лампа ярко освещает накрытый ужин, дальше, по углам комнаты, почти совсем темно; под потолком сонно гудят и жужжат стаи мух. Все окна раскрыты настежь, и теплая ночь смотрит в них из сада, залитого лунным светом; с реки слабо доносятся женский смех и крики, плеск воды.

Мы ходим с дядей по зале. За эти три года он сильно постарел и растолстел, покрякивает после каждой фразы, но радушен и говорлив попрежнему; он рассказывает мне о видах на урожай, о начавшемся покосе. Сильная, румяная девка, с платочком на голове и босая, внесла шипящую на сковороде яичницу; по дороге она отстранила локтем полузакрытую дверь; стаи мух под потолком всколыхнулись и загудели сильнее.

— А вот у нас одно есть, чего у вас нету,—сказал дядя, улыбаясь и смотря на меня своими выпуклыми близорукими глазками.

— Что это?—спросил я, сдерживая улыбку.

— Мухи!

Когда я еще студентом приезжал сюда на лето, дядя каждый раз слово в слово делал это же замечание.

Тетя Софья Алексеевна воротилась с купанья; еще за две комнаты слышен ее громкий голос, отдающий приказания.

— Палашка! возьми простыню, повесь на дверь в спальне! Да зовите мальчиков к ужину, где они?.. Котлеты подавайте, варенец, сливки с погреба... Скорей!.. Где Аринка? А, яичницу уже подали,—говорит она, торопливо входя и садясь к самовару.—Ну, господа, чего же вы ждете? Хотите, чтоб остыла яичница? Садитесь!

Софья Алексеевна одета в старую синюю блузу, ее лицо сильно загорело, и все-таки она всем своим обликом очень напоминает французскую маркизу прошлого столетия; ее поседевшие волосы, пушистою каймою окружающие круглое лицо, выглядят, как напудренные.

— А как же? разве без барышень можно?—спросил дядя.

— Можно, можно! Пускай не опаздывают!

— Нет, это нельзя. Как же ты нас заставляешь нарушить рыцарский кодекс?

— Да ну, будет тебе! Ведь Митя голоден с дороги. Тоже— рыцарь!—сказала Софья Алексеевна с чуть заметной усмешкой.

— Ну, нечего делать: приказано, так надо слушаться. Что ж, сядем, Дмитрий? Вот выпьем водочки—и за яичницу примемся.

Он поставил рядом две рюмки и стал наливать в них из графинчика полыновку.

— А как водка будет по-латыни—aqua vitae?—спросил он.

— Да.

— Гм! «Вода жизни»...—Дядя несколько времени в раздумьи смотрел на наполненные рюмки.—А ведь остроумно придумано!— сказал, он, вскидывая на меня глазами, и засмеялся дребезжащим смехом.—Ну, будь здоров!

Мы чокнулись, выпили и принялись за еду.

— Где же, однако, барышни наши?—спросил дядя, с аппетитом пережевывая яичницу.—Я беспокоюсь.

— Ешь яичницу и не беспокойся. Барышни наши уж выкупались,—ответила тетя.

В саду под окнами раздались голоса, стеклянная дверь балкона звякнула и распахнулась.

— Ну, вот тебе и барышни наши: слава богу, за полверсты слышно.

Они шумно вошли в залу. Лица их после купанья свежи и оживленны; темные волосы Наташи влажны, и она длинным покрывалом распустила их по спине. Дядя увидел это и пришел якобы в негодование.

— Наташа, что это значит, что у тебя волосы распущены?

— Я ныряла,—быстро ответила она, садясь к столу.

— Так что ж такое?

— Соня, передай ветчину... Ну, так вот нужно, чтоб волосы просохли.

— Зачем это нужно?—изумленно спросил дядя и юмористически поднял брови.—Нет, взрослым девицам вовсе не

подобает ходить с распущенными волосами!— сказал он, качая головой.

Но поучение его пропало даром; все были заняты едой и, удерживаясь от смеха, трунили почему-то над Лидой. Лида краснела и хмурилась, но когда Соня, проговорив: «спасайся, кто может!», вдруг прорвалась хохотом, то и Лида рассмеялась.

— Что это вы, Лида, в большой опасности находились?— вполголоса спросил я, невольно и сам улыбаясь.

Наташа быстро взглянула на меня и незаметно повела взглядом на отца: значит, здесь тайна, которую мне об'яснят потом.

— А что же ты, Дмитрий, макарон к котлетам не взял?—спохватился дядя.—Дай я тебе положу.

Он наложил мне в тарелку макарон.

— У итальянцев макароны—самое любимое кушанье,—сообщил он мне.

Очень радушный хозяин дядя, но—признаться—скучновато сидеть между «большими», и, право, я давно знаю, что итальянцы любят макароны.

Пришли и мальчики. Миша,—пятнадцатилетний сильный парень, с мрачным, насупленным лицом,—молча сел и сейчас же принялся за яичницу. Петька двумя годами моложе его и на класс старше; это крепыш невысокого роста, с большой головой; он пришел с книгой, сел к столу и, подперев скулы кулаками, стал читать.

— Ну, Митечка, рассказывай же, что ты это время поделывал,—сказала Софья Алексеевна, кладя мне руку на локоть.

Наташа подняла было голову и в ожидании устремила на меня глаза. Но мне так не хочется рассказывать...

— Ей-богу, тетя, ничего нет интересного; служил, лечил—вот и все... А скажите,—я сейчас через Шеметово ехал,—кто это там за околицей новую мельницу поставил?

— Да это же Устин наш, разве ты не знал? Как же, как же! Уж второй год работает мельница...

И начался длинный ряд деревенских новостей. В зале уютно, старинные, засиженные мухами часы мерно тикают, в окна светит месяц... Тихо и хорошо на душе. Все эти девчурки-подростки стали

теперь взрослыми девушками; какие у них славные лица! Что-то представляет собою моя прежняя «девичья команда»? Так называла их всех Софья Алексеевна, когда я, студентом, приезжал сюда на лето...

С конца стола донесся ярый рев, от которого все вздрогнули.

— Что такое?—грозно крикнула тетя.—Кто это там?

— Это—я!—торжественно об'явил Петька.

— Ну, конечно, так и есть: кому же еще? Я тебе, дрянь-мальчишка!

— Это я читать кончил,—об'яснил Петька.

Дядя поднял голову и, словно только что проснулся, повел кругом глазами.

— Э... э... Что это?—спросил он, покрякивая.—Должно быть, Петька опять дикие звуки испускает, а?

Ему никто не ответил. Он крякнул и подложил себе в чай сахару. Петька сидел, развалясь на стуле, и широко ухмылялся.

— Крик могучий, крик пернатый... я в своем сердце ощутил... Крик ужасный, крик... неясный... я из себя испустил... Кхе-кхе-кхе! Как хорошо вышло!

И, совершенно довольный, Петька придвинул к себе тарелку и стал накладывать творогу. Кругом смеялись, а он старательно разминал ложкою творог с сахаром, как-будто не о нем совсем шло дело.

Чай отпили.

— А что, Вера Николаевна, усладите вы сегодня наш слух своею музыкой?—спросил дядя.

Вера, племянница Софьи Алексеевны—стройная, худощавая блондинка с матово-бледным лицом и добрыми глазами; она собирается осенью ехать в консерваторию, и, говорят, у нее действительно есть талант.

— Да, да, Вера,—сказал я.—Сыграйте-ка что-нибудь после ужина; я в Пожарске столько слышал о вашем таланте.

Вера встрепенулась.

— Ах, господи! Митя, я вам наперед говорю: если вы такие вещи говорить будете, я н-ни за что не стану играть!

— Да не беспокойтесь, пожалуйста, я вот сначала послушаю. Очень может быть, что после этого и не стану говорить.

Дядя засмеялся и встал из-за стола.

— Ну, кажется, все уже кончили. Докажите ему, Вера Николаевна, что и Пожарск может собственных Невтонов рождать!

Все перешли в гостиную. Вера села за рояль, быстро пробежала рукой по клавишам и с размаху сильно ударила пальцем в середине клавиатуры.

— Что же вам сыграть?—спросила она, повернув ко мне голову.

— Это всегда так знаменитые музыкантши пачинают!—почтительно произнес Петька и ткнул указательным пальцем в Верин палец, нажимавший клавишу.

— Да ну, Петя, будет!—рассмеялась она, стряхивая его руку.

Тетя отогнала Петьку от рояля.

Я попросил играть Бетховена. Наташа широко распахнула двери балкона. Из сада потянуло росой и запахом душистого тополя; в акации щелкал запоздалый соловей, и его песня покрылась громкими, дико-оригинальными бетховенскими аккордами. В зале, при свете маленькой лампочки, убирали чай. Дядя сопел на диване и слушал, выкатив глаза.

Я мало понимаю в музыке; я даже не мог бы сказать, горе или радость выражены в сонате, которую играла Вера; но что-то накипает на сердце от этих чудных, непонятных звуков, и хорошо становится. Вспоминается прошлое; многое в нем кажется теперь чуждым и странным, как-будто это другой кто жил за тебя. Я мучился тем, что нет во мне живого огня, я работал, горько смеясь в душе над самим собою... Да полно, прав ли я был? Все жили спокойно и счастливо, а я ушел туда, где много горя, много нужды и так мало поддержки и помощи; знают ли они о тех лишениях, тех нравственных муках, которые мне приходилось там терпеть? А я для этого сознательно отказался от довольной и обеспеченной жизни... И принес я с собой оттуда лишь одно,—неизлечимую болезнь, которая сведет меня в могилу.

Вера играла. Ее бледное лицо смотрело сосредоточенно, только в углах губ дрожала лукавая улыбка; пальцы тонких, красивых

рук быстро бегали по клавишам... О, да! теперь бы и я мог уверенно сказать: сколько задорного, молодого счастья в этих звуках! Они знать не хотят никакого горя: чудно-хороша жизнь, вся она дышит красотою и радостью; к чему же выдумывать себе какие-то муки?.. Вершины тополей, освещенные месяцем, каждым листиком вырисовывались в прозрачном воздухе; за рекою, на склоне горы, темнели дубовые кусты, дальше тянулись поля, окутанные серебристым сумраком. Хорошо там теперь. Дядя попрежнему сопел, понурив голову. Дремлет ли он или слушает?

Ко мне неслышно подошла Наташа.

— Митя, пойдем мы сегодня гулять?—шопотом спросила она, близко наклонившись и блестя глазами.

— Конечно!—тихо ответил я.—А что, вам еще и теперь не позволяют гулять по вечерам?

Наташа с улыбкой наклонила голову, указала взглядом на отца и отошла.

Пальцы Веры с невозможною быстротою бегали по клавишам; бешено-веселые звуки крутились, захватывали и шаловливо уносили куда-то. Хотелось смеяться, смеяться без конца, и дурачиться, и радоваться тому, что и ты молод... Раздались громовые заключительные аккорды. Вера опустила крышку рояля и быстро встала.

— Славно, Вера, ей-богу, славно!—воскликнул я, обеими руками крепко пожимая ее руки и любуясь ее счастливо улыбавшимся лицом.

Дядя поднялся с дивана и подошел к нам.

— Вера Николаевна своей музыкой, как Орфей в аду... укрощает камни...—любезно сказал он.

— Именно, именно, камни укрощает!—с мальчишеским чувством подхватил я.—За вашу музыку я вас сегодня гулять с собой возьму,—шутливо шепнул я ей.

— Благодарю!—ответила она, улыбаясь.

Дядя зевнул и вынул часы.

— Ого! уж скоро одиннадцать!.. Пора и на боковую. Как ты думаешь, Дмитрий? В деревне всегда надо рано ложиться и рано

вставать. Покойной ночи!.. Как это?.. э... э... Leben Sie wohl, essen Sie Kohl, trinken Sie Bier, lieben Sie mir!.. Ххе-хе-хе-хе?— Дядя засмеялся и протянул мне руку.—Немцы без *бира* никогда не обойдутся!

Он простился и ушел. Я стал перелистывать лежавшую на столе «Ниву»; остальные тоже делали вид, что чем-то заняты. Тетя окинула всех нас взглядом и засмеялась.

— Ну, Митя, вы, я вижу, гулять собираетесь!—сказала она, лукаво грозя пальцем.

Я расхохотался и захлопнул «Ниву».

— Тетя, посмотрите, какая ночь!

— Да Митечка, ведь ты же больше суток в дороге был! Ну, где тебе еще гулять?

— Речь тут не обо мне, тетя...

— Стал ты доктором, а, право, все такой же, как прежде...

— Ну, значит, позволяете!—заключил я.—А мальчиков можно с собой взять?

— Э, да уж идите все!—махнула она рукой.—Только, господа, потише, чтоб папка не слышал, а то буря будет... Я велю вам в зале кринку молока оставить: может быть, проголодаетесь... Прощайте! Счастливого пути!

Мы спустились в сад.

— Ну, что же, господа, на лодке поедем?—шопотом спросил я.

— Конечно, на лодке!.. В Грёково,—быстро сказала Наташа.—Ах, Митя, ночь какая! Прогуляем сегодня до утра?..

Все были как-то особенно оживлены,—даже полная, сонливая Соня, старшая сестра Наташи. Мы свернули в темную боковую аллею; в ней пахло сыростью, и свет месяца еле пробивался сквозь густую листву акаций.

— Вот, Митя, потеха была сегодня!—смеясь, заговорила Наташа.—Выкупались мы перед ужином и переехали в лодке на ту сторону; возвратились назад,—я весла выбросила на берег, выпрыгнула сама и нечаянно ногою оттолкнула лодку. Лида сидела на корме,—вдруг как вскочит: «Ах, господи-батюшки! Спасайся, кто может!»—и как была, одетая,—в воду!

— Я испугалась: как бы мы без весел к берегу под'ехали?— краснея, стала оправдываться Лида, сестра Веры.

Странная эта Лида: молчаливая и застенчивая, она краснеет при самом незначительном, обращенном к ней слове.

— И вся, вся замочилась, выше пояса!—хохотала Наташа.— Пришлось сбегать домой, принести ей сухое платье.

— «Спасайся, кто может!» Ххо-ххо-ххо!—в восторге засмеялся Петька и обеими руками крепко обнял Лиду за талию.

— Да ну, Петька, пошел прочь!—с досадой сказала Лида.— Вешается ко всем!

— Ах, Лида, Лида! за что ты меня ожесточаешь?—меланхолически произнес Петька.—Если бы ты могла знать чувства мужского сердца!

— Ну, Петька! шут!—лениво засмеялась Соня.

Аллея кончалась калиточкой. За нею по косогору спускалась к реке узкая тропинка. Наташа неожиданно положила руки на плечи Веры и вместе с нею быстро побежала под гору.

— Ай!.. Ната-а-аша!!!—закричала Вера, испуганно смеясь и стараясь остановиться. Петька помчался следом за ними.

Когда мы сошли к реке, Вера, обессилевшая от смеха и усталости, сидела на лавочке под черемухой и, свесив голову, громко, протяжно охала. Петька сидел рядом и тоже старательно охал.

— Да ну, Петя... Ради бога!.. Ох!—стонала она, хватаясь за грудь.—Будет!.. Ох, не могу!.. О-о-ох!

— О-о-ох!—вторил Петька.

Вера морщилась и бессильно махала руками, и все-таки смеялась.

— Ну, Верка, размякла совсем!—презрительно сказала Наташа, стоя на корме лодки.—Настоящая рыба!

— Господа! Ведь нас не только в доме, а и в Санине слышно,— запротестовал я.

— Ну, садитесь скорей в лодку, а то мы одни уедем!—крикнула Наташа.

— О-ох, Наташа, Наташа!—вздохнула Вера, поднимаясь и еле бредя к лодке.—Что ты со мною делаешь!

— Да ну же, садитесь скорей!—повторила Наташа, нетерпеливо раскачивая лодку.

Мы с Мишей сели за весла; Вера, Соня, Лида и Петька разместились в середине, Наташа у руля. Лодка, описав полукруг, выплыла на середину неподвижной реки; купальня медленно отошла назад и скрылась за выступом. На горе темнел сад, который теперь казался еще гуще, чем днем, а но ту сторону реки, над лугом, высоко в небе стоял месяц, окруженный нежно-синею каймою.

Лодка шла быстро; вода журчала под носом; не хотелось говорить, отдавшись здоровому ощущению мускульной работы и тишине ночи. Меж деревьев всем широким фасадом выглянул дом с белыми колоннами балкона; окна везде были темны: все уже спят. Слева выдвинулись липы и снова скрыли дом. Сад исчез назади; по обе стороны тянулись луга; берег черною полосою отражался в воде, а дальше по реке играл месяц.

— Ах, какая чудная луна!—томно вздохнула Вера. Соня засмеялась.

— Вот смотри, Митя, она всегда такая: просто не может равнодушно видеть месяца. Раз мы с нею шли в Пожарске через мост; на небе луна,—тусклая, ничего хорошего; а Вера смотрит: «ах, великолепная луна!..» Такая сантиментальная!

— Сантиментальная! А вот Наташа только-что говорила, что я—рыба. Разве рыбы бывают сантиментальные?—спросила Вера с своею медленною и доброю улыбкою.

— Отчего же нет? Высунула рыба нос из воды, смотрит на луну: «ах, ах!—великолепная луна!».

Соня сострила неожиданно для себя и залилась смехом. Я сложил весла и передохнул.

— Господа, давайте голоса ночи слушать,—предложила Наташа.—Миша, брось весла.

Лодка медленно проплыла несколько аршин, постепенно заворачивая вбок, и наконец остановилась. Все притихли. Две волны ударились о берега, и поверхность реки замерла. С луга тянуло запахом влажного сена, в Санине лаяли собаки. Где-то далеко заржала лошадь в ночном. Месяц слабо дрожал в синей воде, по по-

верхности реки расходились круги. Лодка повернула боком и совсем приблизилась к берегу. Дунул ветер и слабо зашелестел в осоке, где-то в траве вдруг забилась муха.

Я закурил папиросу и стал держать горящую спичку над водой. Из черной глубины быстро вынырнула рыба, оторопело уставилась на огонь выпученными, глупыми глазами и, вильнув хвостом, юркнула назад. Все рассмеялись.

— Как Вера на луну!—сказала Лида, лукаво дрогнув бровью.

Все засмеялись сильнее, а Лида покраснела.

— Ну, господа, дальше можно ехать,—сумрачно проговорил Миша, все время зевавший. Он снова взялся за весла.

Наташа перебралась с кормы на середину лодки.

— Митя, расскажи, за что тебя со службы выгнали,—сказала она, с детскою лаской заглядывая мне в глаза.

— За что выгнали? О, голубушка, это история долгая...

— Ну, все-таки расскажи!..

Я стал рассказывать. Все теснее сдвинулись вокруг. Между прочим, рассказал я и о своей первой стычке с председателем, после которой я из «преданного своему делу врача» превратился в «наглого и неотесанного фрондера»; приехав в деревню, где был мой пункт, принципал прислал мне следующую *собственноручную* записку: «Председатель управы желает видеть земского врача Чеканова; обедает у князя Серпуховского». Ну, я ему на обратной стороне его записки ответил: «Земский врач Чеканов не желает видеть председателя управы и обедает у себя дома».

Все рассмеялись.

— Что же он?—быстро спросила Наташа.

— Да ничего. Ответа моего он никому не мог показать, потому что тогда бы прочли и его письмо: ну, а так врачу не пишут.

— Я не понимаю, Митя, как можно было так ответить,—сказала Вера.—Ведь он же ваш начальник?

— Да ну, Вера! всегда вот такая!—нетерпеливо повела Наташа плечами.—Так что ж такое?

— Как—что ж такое? Вот из-за этого Митя потерял место. Хорошо еще, что он неженатый человек.

— Голубушка, Вера, и женатые отказывались от мест,—сказал я.—Читали вы в газетах о саратовской истории? Все врачи, как один человек, отказались. А нужно знать, какие это горькие бедняки были, многие с семьями,—подумать жутко!

Мы несколько времени плыли молча.

— Свобода вероисповедания...—задумчиво произнес Петька.

— К чему ты это сказал?—с усмешкою спросила Соня. Петька помолчал.

— К чему я это, правда, сказал?—проговорил он с недоумевающей улыбкой.—А все-таки есть смысл.

— Какой же?

— Го-го!.. Какой! Свобода вероисповедания,—из-за нее в средние века сколько войн происходило.

— Ну, так что ж?

— Ну, так вот.

Я снова сел за весла. Лодка пошла быстрее. Наташа лихорадочно оживилась; она вдруг охватила обеими руками Веру и, хохоча, стала душить ее поцелуями. Вера вскрикнула, лодка накренилась и чуть не зачерпнула воды. Все сердито напали на Наташу; она, смеясь, села на корму и взялась за руль.

— Господи, вот сумасшедшая девчонка! Я так испугалась!—говорила Вера, оправляя прическу.

— Скорей, господа, скорей гребите!—говорила Наташа, откидывая распущенные волосы за спину.

Лодка вдруг с шуршащим шумом врезалась в тростник; нас обдало острым запахом аира, его початки закачались и раздались в стороны.

— Сильней гребите, сильней!—смеялась Наташа, нетерпеливо топая ногами. Весла путались в упругих корнях аира, лодка медленно двигалась вперед, окруженная сплошною стеною мясистых, острых, как иглы, стеблей.—Ну, вот, приехали! Вылезайте!

— Спорить трудно: действительно приехали!—засмеялся я.

Вера переглянулась с Лидой.

— Одн-нако! Довольно-таки по-суворовски!—сказала она, поднимаясь.

— Ничего! Суворов был умный человек. Вылезай! Я вас в грёковской роще ужином накормлю.

— Да, если так, то... Ай, Наташа, осторожнее! Не качай лодку!

Мы вышли на берег. Спуск весь зарос лозняком и тальником. Приходилось прокладывать дорогу сквозь чащу. Миша и Соня недовольно ворчали на Наташу; Вера шла покорно и только охала, когда оступалась о пенек или тянувшуюся по земле ветку. Петька зато был совершенно доволен: он продирался сквозь кусты куда-то в сторону, вдоль реки, с величайшим удовольствием падал, опять поднимался и уходил все дальше.

— Не стоните, тут сейчас тропинка должна быть,—сказала Наташа.

Она остановилась и, подобравши волосы, широким узлом заколола их на затылке.

— Ах, Митя, если бы ты знал, как я рада, что ты приехал!— вдруг вполголоса сказала она и с быстрой, радостной улыбкой взглянула на меня из-под поднятой руки.

— Эй, вы... акафисты!—донесся из-за кустов голос Петьки.— Идите сюда: тропинка!

— Ну, слава богу!—облегченно вздохнула Соня, и все повернули на голос.

Мы поднялись по тропинке вверх. Над обрывом высились три молодых дубка, а дальше без конца тянулась во все стороны созревавшая рожь. Так и пахнуло в лицо теплом и простором. Внизу слабо дымилась неподвижная река.

— Ох, устала,—проговорила Вера, опускаясь на траву.—Господа, я не могу дальше итти, нужно отдохнуть... Ох! Садитесь!..

— Фу, ты, безобразие! Как старуха, охает!—сказала Наташа.—Сколько раз ты сегодня охнула?

— Старость приходит, о-ох!..—вздохнула Вера и засмеялась.

Опершись на локоть, она закинула голову кверху и стала смотреть в небо. Мы все тоже сели. Наташа стояла на самом краю обрыва и смотрела на реку.

Ветер слабо дул с запада; кругом медленно волновалась рожь. Наташа повернулась и подставила лицо навстречу ветру.

— Господи!.. Наташа, смотри, где ты стоишь!—испуганно вскрикнула Вера.

Край обрыва надтреснул, и Наташа стояла на земляной глыбе, нависшей над берегом. Наташа медленно посмотрела под ноги, потом на Веру; задорный бесенок глянул из ее глаз. Она качнулась, и глыба под нею дрогнула.

— Наташа, да сойди же сию минуту,—волновалась Вера.

— Ну, Верка, не сантиментальничай!—засмеялась Наташа, раскачиваясь на колыхавшейся глыбе.

— Ах, господи, бешеная девчонка!.. Наташа, ну, ради бо-ога!..

— Наташа, да ты вправду с ума сошла!—воскликнул я, поднимаясь. Но в это время глыба сорвалась, и Наташа вместе с нею рухнула вниз. Вера и Соня истерически вскрикнули. Внизу затрещали кусты. Я бросился туда.

Наташа, оправляя платье, быстро выходила из кустов на тропинку. Одна щека ее разгорелась, глаза ярко блестели.

— Ну, можно ли, Наташа, так?!.. Что, ты больно ушиблась?

— Да ничего же, Митя, что ты!—ответила она, вспыхнув.

— Не может быть ничего: с этакой высоты!.. Эх, Наташа! Если ушиблась, так скажи же.

— Ах, Митя, какой ты чудак!—рассмеялась она.—Ну, что это— из-за каждого пустяка такую тревогу подымать!

Она быстро стала подниматься по тропинке вверх.

— Это бог знает, что такое!—сердито встретила ее Соня.— Право, ведь всему есть мера. Этакая глупость!.. Недоставало, чтобы ты себе сломала ногу.

Наташа широко раскрыла глаза и медленно спросила:

— Кому до этого дело?

— Ах, господи!—всплеснула Вера руками.—Вот меня всегда в таких случаях возмущает Наташа!.. «Кому дело»! Папе и маме твоим дело, нам всем дело!.. Как это так всегда, постоянно и постоянно о себе одной думать!

— Всегда, постоянно и постоянно...—благоговейно повторил Петька и задумался, словно стараясь вникнуть в глубокий смысл этих слов.

— Ну, ну! *Просто*—постоянно!—улыбнулась Вера.

Петька захихикал.

— Всегда, постоянно и постоянно! Как хорошо выходит: всегда... постоянно... и постоянно!

— Ну, господа, довольно сидеть! Идем дальше!—сказала Наташа.—Вот так, прямо через рожь, всего полверсты будет до рощи.

— О, Петя, Петя! Всегда-то ты меня обижаешь!—вздохнула Вера, опираясь о его плечо и поднимаясь.

Мы пошли через рожь по широкой меже, заросшей полынью и полевой рябинкой.

— Вот и дома тоже: когда я рассержусь, я начинаю говорить очень неправильно,—сказала Вера.—И мальчики сейчас этим пользуются.

— Вера, неужели вы тоже умеете сердиться?—удивленно спросил я.

— О, да еще как!—улыбнулась она.—Только мальчики совсем не боятся. Я заговорюсь, скажу что-нибудь,—они сейчас подхватят, я и рассмеюсь. Особенно Саша,—он такой остроумный; и у него совсем какой-то особенный юмор.

Вера начала рассказывать о своих братьях. Знала она их удивительно: столько в ее рассказах сказалось наблюдательности, столько любви и тонкого психологического чутья, что я слушал с действительным интересом. Остальные довольно недвусмысленно выражали желание переменить разговор.

— Ну, ну, я сейчас кончу!—торопливо возражала Вера и продолжала рассказывать без конца.

Вдруг в темноте раздался звонкий подзатыльник, что-то охнуло, и Петька кубарем покатился в рожь.

— Дурак!—послышалось изо ржи.

Миша гневно крикнул:

— Я тебе еще не так влеплю, дрянь!

Петька вышел на межу и стал счищать с себя пыль.

— Думает, что сильнее, старший братец, так может, что хочет, делать!—сердился он.

— Да в чем дело? Миша, за что ты его?—спросила Соня.

— Чорт знает, что такое! Иду,—вдруг он меня за нос хватает!.. Попробуй-ка еще раз!

— А я почем знал, что это твой нос? Ты бы сказал. А то я вижу, морква какая-то торчит,—длинная, мокрая... Мне, конечно, интересно.

— Глупо-с, Петенька!—ядовито заметил Миша.

— Склизкая такая, холодная...

Кругом смеялись. Петька был отомщен. Миша презрительно процедил:

— Шут гороховый!

— Оо-о-хо-хо!—глубоко вздохнул Петька, подтянул брюки и огляделся по сторонам.—У Наташи в глазах две курсистки сидят,—об'явил он.—В каждом глазу по курсистке: одна в очках, другая без очков.

— Ну, оставь, Петя!—недовольно остановила Наташа.

— А ты разве на курсы собираешься?—быстро спросил я.

— Н-нет... не знаю,—ответила она и взглянула вперед.—Вот она, грёковская роща!

Средь светлой ржи, отлого тянувшейся вниз, широкою, неправильною полосою вилась грёковская лощина; на склоне ее, вся залитая лунным светом, темнела небольшая осиновая роща.

Лощинка была уже выкошена. Ручей, густо заросший тростником и резикой, сонно журчал в темноте; под обрывом близ омута что-то однообразно, чуть слышно пищало в воде. Из глубины лощины тянуло влажным, пахучим холодком.

Мы перебрались через ручей и вошли в рощу. В середине ее была сажалка, вся сплошь зацветшая. Наташа спустилась к самому ее берегу и из глубины развесистого липого куста достала небольшой холстинковый мешочек.

— Господа, костер нужно будет разводить! Вот вам ужин,—с торжеством заявила она.

В мешочке оказалось десятка три сырых картофелин, четыре ржаных лепешки и соль. Все расхохотались.

— Откуда это у тебя тут?

— Очень просто: я часто хожу сюда читать; проголодаюсь,—разведу костер, спеку картофелю и позавтракаю.

— Ге-ге-ге! это нужно вперед знать,—сказал Петька, почесав за ухом.

Все рассыпались по роще, ломая для костра нижние сухие сучья осин. Роща огласилась треском, говором и смехом. Сучья стаскивались к берегу сажалки, где Вера и Соня разводили костер. Огонь запрыгал по трещавшим сучьям, освещая кусты и нижние ветви ближайших осин; между вершинами синело темное звездное небо; с костра вместе с дымом срывались искры и гасли далеко вверху. Вера отгребла в сторону горячий уголь и положила в него картофелины.

Сначала все шутили и смеялись, потом примолкли. Костер догорал, все было с'едено. Петька, положив вихрастую голову на колени Веры, задремал; она с материнскою заботливостью укутала его своим платком и сидела, не шевелясь. И опять, как тогда за роялем, ее лицо стало красиво и одухотворенно.

Мы долго сидели у костра; под пеплом бегали огненные змейки, листья осин слабо шумели над головой. Я рассказывал о своей службе, о голоде и голодном тифе, о том, как жалко было при этом положение нас, врачей: требовалось лишь одно—кормить, получше кормить здоровых, чтоб сделать их более устойчивыми против заражения; но пособий едва хватало на то, чтоб не дать им умереть с голоду. И вот одного за другим валила страшная болезнь, а мы беспомощно стояли перед нею со своими ненужными лекарствами... Вера сидела, задумчиво глядя на лицо спящего Петьки; кажется, она мало слушала: мысли ее были далеко, в Пожарске, и она думала о своих братьях.

Наконец, мы собрались домой. Месяц уже давно сел, на востоке появилась светлая полоска; лощина тонула в белом тумане, и становилось холодно. Было поздно, приходилось возвращаться домой по самой короткой дороге; Наташа взялась сходить завтра утром за лодкой и пригнать ее домой. Мы поднялись на гору, прошли через рожь, потом долго шли по пару и вышли, наконец, на торную дорогу; круто обогнув крестьянские овсы, она мимо березовой рощи спускалась вниз к Большому лугу. Весь луг был покрыт густым туманом, и перед нами как будто медленно колыхалось огромное озеро. Мы спустились в это туманное озеро. Грудь теснило сыростью, тяжело

было дышать; на траве по бокам дороги белела роса. Мы шли, рассекая туман.

— Слушай!—сказала вдруг Наташа, схватив меня за локоть.

Мы остановились. Тишина кругом была мертвая; и вдруг, близ рощи, в овсах, робко, неуверенно зазвенел жаворонок... Его трель слабо оборвалась в сыром воздухе, и опять все смолкло, и стало еще тише.

Вдали начали вырисовываться в тумане темные силуэты деревьев и крыши изб; у околицы тявкнула собака. Мы поднялись по деревенской улице и вошли во двор. Здесь тумана уже не было; крыша сарая резко чернела на светлевшем небе; от скотного двора несло теплом и запахом навоза, там слышались мычание и глухой топот. Собаки спали вокруг крыльца.

— Ну, господа, потише теперь, а то всех разбудим!—предупредил я.

В голове звенело, нервы были напряжены; у всех глаза странно блестели, и опять стало весело.

— Что ж, Митя, будем мы молоко пить?—спросила Наташа.

— Уж лучше не надо: разбудим мы всех.

— А мы вот как сделаем: мы к тебе наверх молоко принесем и там будем пить.

Мысль эту все одобрили. Мы пробрались наверх. За молоком откомандировали, конечно, Наташу. Она принесла огромную кринку молока и целый ситный хлеб.

— Господа, извольте только все молоко выпить!—об'явила она.

— Почему это?

— А то мама увидит, что не все выпили, и вперед будет меньше оставлять.

— Эге! На этом основании, значит, каждый раз придется все выпивать!

Однако через четверть часа кувшин был уже пуст. Теперь, когда шуметь было нельзя, всеми овладело веселье неудержимое; каждое замечание, каждое слово приобретало необыкновенно смешное значение; все крепились, убеждали друг друга не смеяться, закусывали губы—и все-таки смеялись без конца... Мне с трудом удалось их выпроводить.

Однако, засиделся же я! Солнце встало и косыми лучами скользит по кирпичной стене сарая, росистый сад полон стрекотаньем и чириканьем; старик Гаврила, с угрюмым, сонным лицом, запрягает в бочку лошадь, чтоб ехать за водою.

Спать!

21 июня.

Проснулся я в начале двенадцатого и долго еще лежал в постели. В комнате полумрак, яркое полуденное солнце пробирается сквозь занавески и играет на стекле графина; тихо; снизу издалека доносятся звуки рояля... Чувствуешь себя здоровым и бодрым, на душе так хорошо, хочется улыбаться всему. Право, вовсе не трудно быть счастливым!

Миша и Петя пришли звать меня купаться. Я оделся, мы на перегонки сбежали к реке. Небо—синее и горячее, солнце жжет; тенистый сад на горе, словно изнемогши от жары, неподвижно дремлет. Но вода еще свежа, она охватывает тело мягкою, нежною прохладою; плывешь, еле двигая руками и ногами, в этой прозрачно-зеленой, далеко вглубь освещенной солнцем воде. Мы купались около часа, пока не зазвонили к завтраку. Почти все уж были в сборе; на столе благодать: пирог, варенец, рубцы, редиска, ветчина, свежие огурцы. Я опять сидел возле дяди, и он любезно сообщил мне несколько очень новых и интересных сведений: что гречневая каша—национальное русское блюдо, что есть даже пословица: «каша—мать наша», что немцы предпочитают пиво, а русские—водку, и т. п.

Вошла Наташа и села к столу.

— Что ж ты, Наташа, с Митею не здороваешься?—сказала Софья Алексеевна.—Ведь он с твоими «принципами» незнаком и может обидеться.

По губам Наташи скользнула быстрая усмешка; она протянула мне руку.

— У тебя какие же на этот счет «принципы»?—спросил я.

Наташа засмеялась.

— Я не знаю, о каких мама принципах говорит,—ответила она, садясь рядом со мною.—А только... Смотри: мы восемь часов

назад виделись; если люди днем восемь часов не видятся, то ничего, а если они эти восемь часов спали, то нужно целоваться или руку пожимать. Ведь, правда, смешно?

— Ничего смешного нет,—поучающе возразила Софья Алексеевна.—Это известное условие между людьми, которое...

— Нам все смешно, нам все решительно смешно!—вдруг вскипятился дядя, враждебно глядя на Наташу.—Здороваться и прощаться—это предрассудок; вести себя, как прилично взрослой девушке,—предрассудок... А вот начитаться разных книжонок и без критики, без рассуждения поступать по ним—это не предрассудок! Это идейно и благородно.

Наташа с усмешкою наклонилась над своею чашкою и молчала. Видимо, между нею и отцом лежало что-то, не раз уже вызывавшее их на столкновения.

После завтрака я узнал от Веры о положении дела. Последние два года Наташа усердно готовилась по древним языкам к аттестату зрелости, который, как передавали газеты, будет требоваться для поступления в проектируемый женский медицинский институт. Дядя был очень недоволен занятиями Наташи: двадцатитрехлетней Соне, повидимому, уже нечего было рассчитывать на замужество; Наташа была живее и красивее сестры, и дядя надеялся хоть от нее дождаться внучат. Между тем Наташа с головою ушла в своих классиков; она в Пожарске никуда не выезжала и даже не выходила к гостям, которые приглашались специально для нее. Чтобы совершенно избавиться от всех этих выездов и гостей, она прошлою осенью решила остаться на всю зиму в деревне. Произошла очень тяжелая сцена с дядей; под конец он об'явил Наташе, что пусть она живет, где хочет, но пусть же и от него не ждет ни в чем уступки. Наташа всю зиму прожила в деревне; по утрам она набирала в залу деревенских ребят и девок, учила их грамоте, читала им; по вечерам зубрила греческую грамматику Григоревского и переводила Гомера и Горация. Этою весною проект о женском медицинском институте был возвращен государственным советом; решение вопроса отодвинулось на неопределенное время. Наташа решила ехать хоть на Рождественские курсы лекарских помощниц. Но для поступления

туда требуется родительское разрешение. Когда Наташа заговорила с дядей о курсах, он желчно рассмеялся и сказал, что просьба Наташи его очень удивляет: как это она, «такая самостоятельная», снисходит до просьб! Наташа возразила, что просит она у него только разрешения, содержать же себя будет сама (у нее было накоплено с уроков около трехсот рублей). Дядя отказал наотрез. За Наташу вступился доктор Ликонский, отец Веры и Лиды, единственный человек, имеющий влияние на упрямого и ограниченного дядю; но и его убеждения ничего не могли поделать. Дядя решительно об'явил, что боится отпустить Наташу с ее характером в Петербург.

26 июня.

Может быть, это—лишь следствие того под'ема жизненных сил, который обыкновенно замечается после благополучно перенесенного тифа,—что до того? Я знаю только, что я глубоко счастлив, счастлив *так*, без всякой причины... Ясные дни, теплые, душистые ночи, музыка Веры,—чего мне больше? Не замечаешь, идет ли время или стоит. Никакие вопросы не мучают, на душе тихо и ясно. Я даже книг современных теперь не читаю: дед дяди был очень образованный человек и оставил после себя огромную библиотеку; теперь она свалена в верхней кладовой и служит нищею мышам. Я целые часы провожу там, разбираю и привожу в порядок книги и бумаги. Мне нравится с головою уходить в эту давно исчезнувшую жизнь, где Вольтер уживался с житиями святых, Руссо—с крепостным правом, «Les liaisons dangereuses»—с Фомою Кемпийским,—жизнь жестокую, наивную, сладострастную и сантиментальную.

Наташа навела ко мне массу больных. Все в деревне ей знакомы и все ей приятели. Она сопутствует мне в обходах, развешивает лекарства. Странное что-то в ее отношениях ко мне: Наташа словно все время изучает меня; она как будто не то ждет от меня чего-то, не то ищет, как самой подойти ко мне. Может быть, впрочем, я ошибаюсь. Но какие славные у нее глаза!

От разговоров ее веет чем-то старым-старым, но таким хорошим; она хочет знать, как я смотрю на общину, какое значение придаю

сектантству, считаю ли возможным и желательным развитие в России капитализма. И в расспросах ее сказывается предположение, что я непременно должен интересоваться всем этим. Что же? Я, ведь, действительно, интересуюсь; однако, правду говоря, разговоры эти мне крайне неприятны. Я с величайшим удовольствием прочту книгу, где дается что-нибудь новое по подобному вопросу, не прочь и поговорить о нем; но пусть для моего собеседника, как и для меня, вопрос этот будет холодным теоретическим вопросом, вроде вопроса о правильности теории фагоцитоза или о вероятности гипотезы Альтмана. Наташа же вносит в дело слишком много страстности, и мне становится неловко. Я неохотно отвечаю ей и перевожу разговор на другое.

И еще в одном отношении я часто испытываю неловкость в разговоре с нею: Наташа знает, что я мог остаться при университете, имел возможность хорошо устроиться,—и вместо этого пошел в земские врачи. Она расспрашивает меня о моей деятельности, об отношениях к мужикам, усматривая во всем этом глубокую идейную подкладку, в разговоре ее проскальзывают слова: «долг народу», «дело», «идея». Мне же эти слова режут ухо, как визг стекла под острым шилом.

27 июня.

Со станции привезли газеты. В Баку—холера. Она медленно, но непрерывно поднимается вверх по Волге.

28 июня.

Писать, так уж все писать, хоть гадко и противно вспоминать. После завтрака мы с Верой, Соней и Наташей играли на дворе в крокет. Разговор случайно зашел о тургеневской Елене; Соня, перечитывавшая недавно «Накануне», назвала Елену «самым светлым и сильным образом русской женщины». Я напал на такую незаслуженно высокую оценку Елены. Елена—это разновидность типа очень старого: неопределенные порывания в даль, игнорирование окружающего, искание чего-то эффектного, яркого, необычного,—в этом она вся. Инсарова она полюбила не за то, что он указал ей

дело, а просто потому, что он окружен ореолом, что он—«замечательный человек»: для нее Инсаров совершенно заслоняет собою то дело, которому он служит. Конечно, выбор Елены делает ей честь, но... право, полюбить, например, героя Гарибальди—«невелика штука», как выражается Шубин; невелика штука и умереть за *Италию* из любви к *Гарибальди*. Когда Инсаров опасно заболевает, Елена может найти утешение лишь в одной мысли: «если он умрет,—и меня не станет». Вне ее любви для нее ничего не существует, и понятно, что после смерти Инсарова она должна была поехать непременно в Болгарию... Нет, Елена вовсе не «самый светлый образ русской женщины». Неужели, действительно, все дело женщины заключается в том, чтоб отыскивать достойного ее любви мужчину-деятеля? Где же прямая потребность настоящего дела? Пусть это дело темно и невидно, пусть оно несет с собою одни лишения без конца, пусть на служение ему уходят молодость, счастье, здоровье,—что до того? Ведь это не забава и не фон для поэтического романа; это—тяжелый труд, красный лишь сознанием, что живешь не напрасно. И у нас много было и есть женщин, для которых это сознание дороже самых блестящих героев...

Уж тогда, когда я говорил, во мне шевельнулось отвращение к моему приподнятому тону; но меня подчинило себе то жадное внимание, с каким слушала Наташа. Она не спускала с меня радостно-недоумевающего взгляда, и столько в этом взгляде было страха, что я оборву себя, по обыкновению замну разговор. Ну, вот,—я не остановился, не свел разговора на другое... О, мерзость!

И напрасно я стараюсь убедить себя, что говорил я искренно, что есть что-то болезненное в моей боязни к «высоким словам»: на душе скверно и стыдно, как будто я, из желания пустить пыль в глаза, нарядился в богатое чужое платье.

11 час. веч.

Весь вечер я просидел наверху в кладовой, разбирая книги. Солнце опустилось в багровые тучи, и несколько раз принимался накрапывать дождь. Дядя за ужином был угрюм и молчалив: он собирался начать назавтра возку сена, а барометр неожиданно

сильно упал; на Выконке сено не успели скопнить, и оно осталось на ночь в кругах. Окна были раскрыты, в темном саду тихо шумел дождь. Наташа тоже была молчалива. Я несколько раз ловил на себе ее внимательный и нерешительный, словно выжидающий взгляд. После ужина, когда я прощался с нею, она, протягивая руку, вдруг взглянула на меня и тихо проговорила:

— Митя, мне так много хочется у тебя спросить.

И я—я не спросил, что именно; я только серьезно кивнул головою и, не глядя на Наташу, ответил, что я всегда к ее услугам. Как будто я в самом деле не знаю, что она хочет спросить...

30 июня.

Все время я провожу в кладовой за книгами. Небо обложено тучами, дождь моросит без конца; в мутной сырой дали тянутся черные пашни, мокрые галки кричат на крыше... Я напрасно стараюсь подавить в себе беспричинное, глухое раздражение, не оставляющее меня ни на минуту. Раздражает и надоедливый шум дождя по крыше, и эти ветхие окна, из щелей которых дует нестерпимо, и несущийся от книг противный запах мышей и прелой бумаги. Когда я вспоминаю о своем гаденьком виляньи перед Наташей, меня злость берет: уж два дня прошло; как мальчик, шалость которого открыта, я боюсь разговора с нею и стараюсь избегать ее. И Наташа сразу заметила это. Она держится в стороне, но глаза ее смотрят печально и недоумевающе. Бог весть, как об'ясняет она мое поведение. Сегодня утром я случайно встретился с нею в коридоре; она пугливо оглядела меня и молча прошла мимо.

Голова тяжела, в груди тупая, ноющая боль, и опять появился кашель...

1 июля.

Я лег вчера спать еще до ужина. Сегодня проснулся рано. Отдернул занавески, раскрыл окно. Небо чистое и синее, солнце горячим светом заливает еще мокрый от дождя сад; на липах распустились первые цветки, и в свежем ветерке слабо чувствуется их запах;

все кругом весело поет и чирикает... На душе ни следа вчерашнего. Грудь глубоко дышит, хочется напряжения, мускульной работы, чувствуешь себя бодрым и крепким.

Я пошел в конюшню и оседлал Бесенка. Он застоялся, мне с трудом удалось сесть на него. Бесенок сердито ржал и, весь дрожа от нетерпения, рвался подо мною и вперед, и в стороны. Я нарочно, чтоб побороться с ним, проехал тихим шагом деревенскую улицу и весь Большой луг. От седла пахло кожею, и этот запах мешался с запахом влажной луговой травы.

Проехав плотину, я свернул на Опасовскую дорогу и пустил Бесенка вскачь. Он словно сорвался и понесся вперед, как бешеный. Безумное веселье овладевает при такой езде; трава по краям дороги сливалась в одноцветные полосы, захватывало дух, а я все подгонял Бесенка, и он мчался, словно убегая от смерти.

Слева над рожью затемнел Санинский лес; я придержал Бесенка и вскоре остановился совсем. Рожь без конца тянулась во все стороны, по ней медленно бежали золотистые волны. Кругом была тишина; только в синем небе звенели жаворонки. Бесенок, подняв голову и насторожив уши, стоял и внимательно вглядывался в даль. Теплый ветер ровно дул мне в лицо, я не мог им надышаться...

Ясное небо, здоровье да воля,—
Здравствуй, раздолье широкого поля!..

Ласточка быстро пронеслась мимо ног лошади и вдруг, словно что вспомнив назади, взмахнула крылышками, издала мелодический звук и крутым полукругом вильнула обратно. Бесенок опустил голову и нетерпеливо переступил ногами. Я повернул на дорогу, вившуюся среди ржи по направлению к Санинскому лесу.

«Здоровье»... Здоров я не был,—я чувствовал, что грудь моя больна; но мне доставляло даже удовольствие это совершенно безболезненное ощущение гнездящейся во мне болезни, и весело было заглядывать ей прямо в лицо: да, у меня легкие усеяны тысячами тех предательских желтеньких бугорков, к которым я так пригляделся на вскрытиях,—а я вот еду и дышу полною грудью, и все у меня в душе смеется, и я не боюсь думать, что болен я—чахоткою...

Вспомнился мне профессор N., у которого я два года работал,—хмурый старик с грозными бровями и добрейшей душой; вспомнились мне его предостережения, когда я сообщил ему, что поступаю в земство.

— Да вы, батенька, знаете ли, что такое земская служба?—говорил он, сердито сверкая на меня глазами.—Туда итти, так прежде всего здоровьем нужно запастись бычачьим: промок под дождем, попал в полынью,—выбирайся да поезжай дальше: ничего! Ветром обдует и обсушит, на постоялом дворе выпьешь водочки,—и опять здоров. А вы посмотрите на себя, что у вас за грудь: выдуете ли вы хоть две-то тысячи в спирометр? Ваше дело—клиника, лаборатория. Поедете,—в первый же год чахотку наживете.

Я знал, что все это правда, и тем не менее поехал же; я и под дождем мокнул, и в полыньи проваливался, спеша в весеннюю распутицу к роженице, корчащейся в эклямптических судорогах. Когда ночные поты и утренний кашель навели меня на подозрение, и я нашел в своей мокроте коховские палочки,—именно сознание, что я добровольно шел на это, и не дало мне пасть духом. И вот теперь я стыжусь... чего?—стыжусь говорить, что нужно жить не для себя одного! Передо мною встало побледневшее личико Наташи с большими, печальными глазами... Да неужели же я не имею права хоть настолько-то уважать себя, чтоб не бояться разговора с нею, не бояться того вопроса, с которым она хочет ко мне обратиться? А как я ее мучил!..

Рожь кончилась, дорога вилась среди ореховых и дубовых кустов опушки и терялась в тенистой чаще леса. Меня отовсюду охватило свежим запахом дуба и лесной травы; высоко вверх взбегали кругом серые стволы осин, сквозь их жидкую листву нежно синело небо. Дорога была заброшенная и наполовину заросшая, ветви липовых и кленовых кустов низко наклонялись над нею; в траве виднелись оранжевые шляпки подосинников, ярко зеленела костеника; запахло папоротником... Угомонившийся Бесенок шел щеголеватым шагом, изогнув красивую черную шею; вдруг он поднял голову и, взглянув вперед, громко заржал. На повороте дороги, в нескольких шагах от меня, показалась Наташа верхом на своем буланом Мальчике.

Увидев меня, она отшатнулась на седле и, нахмурившись, затянула поводья; лошадь прижала уши и, оседая на задние ноги, подалась назад.

— Наташа! ты каким образом здесь?—радостно крикнул я и поспешил ей навстречу.—Здравствуй, голубушка!—Я перегнулся с седла и крепко пожал ей руку.

Наташа слабо вспыхнула и оглядела меня быстрым, робким взглядом.

— Вот хорошо, что мы с тобою встретились! Если бы я знал, я бы нарочно именно сюда поехал. Посмотри, утро какое: едешь и не надышишься... Неужели ты уже домой? Поедем дальше, хочешь?..

Я говорил, а сам не отрывал глаз от ее милого, радостно-смущенного лица. Я видел, как она рада происшедшей во мне перемене и даже не старается скрыть этого, и мне неловко и стыдно было в душе, и хотелось яснее показать ей, как она мне дорога.

— Поедем, мне все равно,—в замешательстве ответила Наташа, поворачивая Мальчика.

— Ну, вот спасибо!.. И как это мы с тобою именно здесь с'ехались? Как хорошо,—правда? Голубушка, поедем куда-нибудь... Хочешь в Заклятую Лощину?

Я с трудом удерживал Бесенка, он косился и грозно ржал на шедшего бок-о-бок Мальчика. Дорога была узкая, мокрые ветви осинок то-и-дело обдавали нас брызгами, и мы ехали совсем близко друг от друга.

— Я там была сейчас,—сказала Наташа:—ручей разлился и весь обратился в трясину; пробовала проехать,—нельзя.

Я взглянул на Наташу: она была там!.. Заклятая Лощина— эта глухая трущоба, которая, говорят, кишит волками; ее и днем стараются обходить подальше. А эта девчурка едет туда одна ранним утром, так себе, для прогулки!.. Не знаю, настроение ли было такое, но в эту минуту меня все привлекало в Наташе: и ее свободная, красивая посадка на лошади, и сиявшее счастьем, смущенное лицо, и вся, вся она, такая славная и простая.

— Ну, как хочешь, а я тебя сегодня не скоро пущу домой,— засмеялся я.—Попалась, так уж такая судьба твоя! Поедем хоть куда-нибудь.

Мы свернули на широкую дорогу, пересекавшую лес. Прямая, как стрела, она бежала в зеленой, залитой солнцем просеке.

— Вот дорога, как раз для скачек,—сказал я и с улыбкою взглянул на Наташу.

Наташа встрепенулась.

— А ну, давай опять перегоняться!—предложила она, поправляясь на седле.—Теперь наши лошади одинаково устали.

Мы как-то уж перегонялись с Наташей, и обогнала она; но я перед тем проехал на Бесенке десять верст.

— Ну, ну, посмотрим!

Мы пустили лошадей вскачь. Но только-что они расскакались, и мой Бесенок начал наддавать, все больше опережая Мальчика, как явилось довольно неожиданное препятствие. На краю дороги бродили в кустах два больших поросенка, безмятежно взрывая рылами землю. Завидев нас, они испуганно шарахнулись из кустов, хрюкнули и пустились улепетывать по дороге. Мы ждали, конечно, что они сейчас свернут в бок, и скакали попрежнему; но поросята неуклюже все мчались перед нами, всхрюкивая и отчаянно махая коротенькими, тонкими хвостиками.

— Они теперь все время так бежать будут, ни за что не свернут!—крикнула Наташа, смеясь. Мы стали задерживать разогнавшихся лошадей. Поросята побежали медленнее, взволнованно хрюкая и тряся боками друг о друга.

Мы попытались осторожно об'ехать их; поросята взвизгнули и опять, как угорелые, бросились вперед. Мы переглянулись и расхохотались.

— Вот так задача!—сказал я.

Наташа сдерживала, смеясь, рвавшегося вперед Мальчика. Теперь последняя неловкость между нами исчезла, Наташа оживилась, и было неудержимо весело.

— Ничего, все равно, поедем!—сказала Наташа.—Это Дениса свиньи, лесника; их и без того следовало пригнать домой: вон

куда они забрели, их еще волки с'едят! Поедем к Денису, он нас молоком напоит. Его сторожка сейчас там, на полянке.

Мы поехали шагом, предшествуемые поросятами.

— Ты еще не видел этого Дениса, он всего два года здесь лесником. Такой потешный старичок,—маленький, худенький... Как-то, когда он только что поступил, мама случайно заехала сюда; увидала его: «Голубчик мой, да что же ты за сторож? Ведь тебя всякий обидит!» А он отвечает: «Ничего, барыня, меня не найдут»...

Никогда еще я не видел Наташу такою; ее лицо так и дышало детскою, беззаветною радостью... Я не мог оторвать от нее глаз.

Лесная сторожка стояла в глубине широкой, недавно выкошенной поляны. Денис, в белой холщевой рубахе и лаптях, вышел нам навстречу.

— Денис, голубчик, здравствуй! К тебе мы!—сказала Наташа, соскакивая с лошади.

— А-а, барышня касаткинская,—воскликнул Денис, щурясь.— Просим милости, пожалуйте.—Сунув шапку под мышку, он взял за повода наших лошадей.

— Голубчик, надень шапку!.. И привяжем мы сами... А уж если хочешь быть другом, напои нас молочком... Едем мы сюда,— вот он и говорит: не даст нам Денис молока!—Кто, я говорю, Денис-то не даст?

— Господи! Да неужто ж мы какие-нибудь? Слава богу, найдется молочко, будьте покойны. Пожалуйте в горницу. Девка-то моя на деревню побежала, так уж сам услужу вам.

Было в Денисе что-то чрезвычайно комичное: он то-и-дело самым степенным образом гладил свою жидкую бороденку, серьезно хмурил брови, и все-таки ни следа степенности не было в его сморщенном в кулачок личике и всей его миниатюрной фигурке; получалось впечатление, будто маленький ребенок старается изобразить из себя почтенного, рассудительного старичка.

Мы вошли в избу. Денис поставил перед нами две чашки и кринку парного молока, нарезал ситнику. Наташа следила за ним радостно-смеющимися глазами и болтала без умолку.

— А чтой-то я вот барина этого раньше не видал никогда?— сказал Денис.—Смотрю, смотрю,—нет, чтой-то словно...

— Он недавно только приехал.

Денис поглядел на Наташу.

— Они что же, барышня,—уж не обессудьте на вопросе,—не женишком ли вам приходятся?

— Ну, да же, конечно, женихом!

— То-то я все смотрю... Чтой-то, думаю,—с чего такая радость?

— Да как же, Денис, не радоваться? Ведь сам знаешь, в нынешние времена жениха найти—дело нелегкое. Не найдешь их нигде, словно вымерли все.

Денис развел руками.

— Да ведь... О том и толк, барышня! Куда, мол, подевались все?—неизвестно!

— Во-вот. Ну, а я вот нашла себе.

— Ну, дай вам бог счастливо!.. Они что же, по акцизной части служат?

Наташа расхохоталась.

— Голубчик-Денис, да почему же ты думаешь, что именно по акцизной?!

— Ну, ну, господь с тобой, матушка... Хе-хе-хе!—рассмеялся и Денис, глядя на нее.

Узнав, что я доктор, он придал своему лицу страдальческое выражение и стал сообщать мне о своих многочисленных болезнях.

Мы просидели у него с полчаса. Попытался я ему заплатить за молоко, но Денис обиделся и отказался наотрез.

От него мы поехали на Гремучие колодцы, оттуда в Богучаровскую рощу. В Богучарове, у земского врача Троицкого, пили чай... Домой воротились мы только к обеду.

2 июля, 10 час. утра.

Перечитал я написанное вчера... Меня опьянили яркое утро, запах леса, это радостное, молодое лицо; я смотрел вчера на Наташу и думал: так будет выглядеть она, когда полюбит. Тут была

теперь не любовь, тут было нечто другое; но мне не хотелось об этом думать, мне только хотелось, чтоб подольше на меня смотрели так эти сиявшие счастьем глаза. Теперь мне досадно, и злость берет: к чему все это было? Я одного лишь хочу здесь,—отдохнуть, ни о чем не думать. А Наташа стоит передо мною,—верящая, ожидающая...

11 час. вечера.

Ну, произошел, наконец, разговор... После ужина Вера с Лидой играли в четыре руки какой-то испанский танец Сарасате. Я сидел в гостиной, потом вышел на балкон. Наташа стояла, прислонясь к решетке, и смотрела в сад. Ночь была безлунная и звездная, из темной чащи несло росою. Я остановился в дверях и закурил папиросу.

Наташа обернулась на свет спички.

— Ах, это ты, Митя!—тихо сказала она, выпрямляясь.—Хочешь, пойдем в сад?.. Посмотри, как... хорошо...

Голос ее обрывался, и она взволнованно теребила кружево на своем рукаве.

Мы спустились в цветник и пошли по аллее.

— Помнишь, Митя,—вдруг решительно заговорила Наташа,—помнишь, ты говорил недавно о сознании, что живешь не напрасно,—что это самое главное в жизни... Я и прежде, до тебя, много думала об этом... Ведь это ужасно—жить и ничего не видеть впереди: кому ты нужна? Ведь это сознание, о котором ты говорил,—ведь это самое большое счастье...

Я молча шел, кусая губы. В душе у меня поднималось злобное, враждебное чувство к Наташе; должна же бы она, наконец, понять, что для меня этот разговор тяжел и неприятен, что его бесполезно затевать; должна бы она хоть немного пожалеть меня. И меня еще больше настраивало против нее, что мне приходится ждать сожаления и пощады от этого почти ребенка.

Наташа замолчала.

— Я слышал, что ты прошлую зиму занималась здесь с деревенскими ребятами,—проговорил я.—Ну, как ты, с охотою занималась, нравится тебе это дело?

— Д-да,—сказала Наташа, запнувшись.

— Ну, вот тебе и дело. Если хочешь совершенно отдаться ему, поступи в сельские учительницы. Тогда ты будешь близко стоять к народу, можешь сойтись с ним, влиять на него...

Я говорил, как плохой актер говорит заученный монолог, и мерзко было на душе... Мне вдруг пришла в голову мысль: а что бы я сказал ей, если бы не было этой спасительной сельской учительницы, альфы и омеги «настоящего» дела?

Наташа шла, опустив голову.

— Голубушка, это дело мелко, что говорить,—сказал я, помолчав.—Но где теперь блестящие, великие дела? Да не по ним и узнается человек. Это дело мелко, но оно дает великие результаты.

Я почти физически страдал: как все фальшиво и фразисто! Мне казалось, теперь Наташа видит меня насквозь; и казалось мне еще, что и сам я только теперь увидел себя в настоящем свете, увидел, какая безнадежная пустота во мне...

— Вот это прелестно! — раздался в темноте голос Веры.— Мы с Лидой играем для них, стараемся, а они себе ушли и гуляют здесь! Стоит вам играть после этого! Никогда не стану больше!

Вера, Лида и Соня подошли к нам. Я был рад, что кончился разговор.

3 июля.

Привезли газеты. На меня вдруг пахнуло совсем из другого мира. Холера расходится все шире, как степной пожар, и захватывает одну губернию за другою; люди в стихийном ужасе бегут от нее, в народе ходят зловещие слухи. А наши медики дружно и весело идут в самый огонь навстречу грозной гостье. Столько силы чуется, столько молодости и отваги. Хорошо становится на душе... Завтра я уезжаю в Пожарск.

4 июля.

Я в Пожарске. Приехал я на лошадях вместе с Наташею, которой нужно сделать в городе какие-то покупки. Мы останови-

лись у Николая Ивановича Ликонского, отца Веры и Лиды. Он врач и имеет в городе обширную практику. Теперь, летом, он живет совсем один в своем большом доме; жена его с младшими детьми гостит тоже где-то в деревне. Николай Иванович—славный старик с интеллигентным лицом и до сих пор интересуется наукой; каждую свободную минуту он проводит в своей лаборатории.

Приехали мы вечером, к ужину. Я расспрашивал Николая Ивановича о холере. Она серпом окружила нашу губернию, и кое-где были уже единичные случаи заболевания. В самом Пожарске во врачах не нуждаются, но в уездах недостаток; в уездном городе Слесарске не могут найти врача для зареченской стороны, Чемеровки, заселенной мастеровщиной. Завтра пошлю туда заявление.

5 июля. Воскресенье.

На заборах и фонарных столбах расклеены об'явления, приглашающие жителей города Пожарска принять участие в имеющем произойти сегодня в соборе «молебствии об избавлении от болезни, называемой холерой, за коим последует торжественный крестный ход по всему городу». Я был на молебне. На улицах словно все вымерло; огромная соборная площадь была покрыта несметной толпой; пробраться в самый собор нечего было и думать. Ласточки со звоном кружили вокруг колоколен; солнце играло на золоте прислоненных к стенам хоругвей; из церкви чуть слышно доносилось пение. Я стоял и смотрел на толпу. Может быть, вот эта бледная, красивая девушка, так благоговейно-гордо держащая образ тихвинской божией матери, этот маленький человечек с курчавою головою и в пиджаке, этот нищий,—всех их через неделю свалит холера.

Кругом говорили о недавней смерти местного архиерея, о том, по каким улицам пойдет ход; о самом предмете молебна—ни слова; разве только какой-нибудь веселый мастеровой подмигнет соседу на проходящую дряхлую старушонку с трясущеюся головою и сострит:

— Собрались холеру отмаливать, а холера вон она идет!

Слоняясь в толпе, я столкнулся с Виктором Сергеевичем Гастевым. Он служит акцизным в Слесарске и приехал в Пожарск на какой-то акцизный с'езд. Разговорились. Я ему сообщил, что послал заявление к ним в Слесарск.

Он вытаращил на меня глаза.

— В Слесарск? Ну, батенька, посылайте телеграмму, что отказываетесь.

— С какой стати?

— Да не слыхали вы, что ли, что такое мастеровщина наша зареченская? Укокошат вас там через три дня, и оглядеться не дадут.

— Разве так народ возбужден?

Виктор Сергеевич вскинул плечами и молча стал закуривать сигару. Потом, таинственно подняв брови, наклонился ко мне и зашептал:

— Туда бы, батенька, теперь полк солдат впору поставить, да на руки им боевые патроны раздать, чтоб каждую минуту были готовы к делу. А у нас, вы ведь знаете, как делается: пока гром не грянет, никто не перекрестится; а там и пойдут телеграммами губернатора бомбардировать: «войска давайте!». И холеры-то пока, слава богу, у нас нет никакой, а посмотрите, какие уже слухи ходят: пьяных, говорят, таскают в больницы и там заливают известкой, колодцы в городе все отравлены, и доктора только один чистый оставили—для себя; многие уже своими глазами видели, как здоровых людей среди бела дня захватывали крючьями и увозили в больницу... Они и не скрывают ничего, прямо говорят: если у нас холера об'явится, мы всех докторов перебьем. Шутки, батюшка мой, плохие! Да чего ж вам лучше? Из местных врачей в Чемеровку никто не хочет итти.

На паперти показались священники в золотых ризах; пение вдруг стало громче. Народ заволновался и закрестился, над головами заколыхались хоругви. Облезлая собачонка, отчаянно визжа, промчалась на трех ногах среди толпы; всякий, мимо которого она бежала, считал долгом пхнуть ее сапогом; собачонка катилась в сторону, поднималась и с визгом мчалась дальше. Ход потянулся к кремлевским воротам.

— Ну, пойдем и мы следом!—сказал Виктор Сергеевич.— А как у вас там все в деревне поживают? Через недельку поеду в отпуск в Смоленск, заеду к вам крестницу свою проведать. (Он крестный отец Сони.)

Прощаясь, Виктор Сергеевич еще раз настоятельно посоветовал мне заблаговременно взять свое заявление назад.

6 июля.

Я воротился в Касаткино, так как, может быть, придется ждать больше недели.

Вчера вечером, перед от'ездом из Пожарска, мы пили у Николая Ивановича чай. Наташа разливала. Николай Иванович рассказывал мне о своих исследованиях над вопросом об обмене веществ у подагриков. Вошла горничная и доложила ему, что его хочет видеть «один человек».

— Чего ему? Скажи, чтоб сюда вошел!—сказал Николай Иванович.

В дверях залы показался высокий человек в мещанском пиджачке и стоптанных сапогах. Он поклонился и смиренно остановился у порога.

— Чего тебе, братец?—спросил Николай Иванович.

— Вот карточка вам от Владимира Владимировича.

Николай Иванович пробежал несколько строк, написанных на оборотной стороне визитной карточки, слегка покраснел и нахмурился.

— Ах, виноват! Очень приятно познакомиться!—и он протянул вошедшему руку.—Пожалуйста, садитесь! Не хотите ли чаю? Г-н Гаврилов!—отрекомендовал он его нам.

На тонких губах вошедшего мелькнула чуть заметная усмешка. Он поклонился и так же смиренно сел к столу на кончик стула. Это был худощавый человек лет тридцати пяти, с жиденькой бородкой и остриженный в скобку; выглядел он мелким торгашом-краснорядцем или прасолом, но лоб у него был интеллигентный.

Николай Иванович еще раз прочел карточку и спросил:

— Вы чего же, собственно, хотите?

— В этом году, как вы изволите знать,—начал Гаврилов с тою же чуть заметною усмешкою,—Россию посетил голод, какого давно уже не бывало. Народ питается глиною и соломою, сотнями мрет от цынги и голодного тифа. Общество, живущее трудом этого народа, показало, как вам известно, свою полную нравственную несостоятельность. Даже при этом всенародном бедствии оно не сумело возвыситься до идеи, не сумело слиться с народом и прийти к нему на помощь, как брат к брату. Оно отделывалось пустяками, чтоб только усыпить свою совесть: танцовало в пользу умирающих, об'едалось в пользу голодных, жертвовало каких-нибудь полпроцента с жалованья. Да и эти крохи оно давало народу, как подачку, и только развращало его, потому что всякая милостыня есть разврат. В настоящее время народ еще не оправился от беды, во многих губерниях вторичный неурожай, а идет новая, еще худшая беда—холера...

Николай Иванович слушал, забрав в горсть свою длинную седую бороду, и смотрел в окно.

— Общество, разумеется, попрежнему остается достойным себя,—продолжал Гаврилов.—В этой новой беде, которая грозит уж и ему самому, оно забыло обо всем и бежит спасаться, куда попало. В народе остались только медики, а этого слишком мало. Народ нуждается в материальной помощи, а еще больше—в духовной. Ни того, ни другого нет.

Николай Иванович положил голову на руку и стал смотреть на кончик своего сапога.

— Общество должно наконец прийти в себя. Оно всем обязано народу и ничего не отдает ему. «Другие трудились, а вы вошли в труд их»,—говорит Иисус...

— Извините, пожалуйста,—прервал его Николай Иванович.— Я вот все слушаю вас... и мне все-таки неясно, чего вы, собственно, от меня желаете?

— Я обратился к вам потому, что мне Владимир Владимирович сказал, что вы хороший человек. В настоящее время на таких только людей и надежда.

— Вы хотите, чтоб я... пожертвовал в пользу голодающих?— медленно спросил Николай Иванович, подняв брови.

— Нам нужны ваше сердце, ваш ум,—сказал Гаврилов, чуть улыбнувшись на небрежный вопрос Николая Ивановича.—Деньги—это последнее; *только* деньги нам не нужны. И во всяком случае, я пришел просить у вас не денег.

— А чего же-с?

— Вашего нравственного содействия, активной работы в пользу несчастных.

— Вот как!.. Однако работа-то работой, а ведь, согласитесь,— прежде всего для этого все-таки нужны деньги.

— Миром управляют идеи, а не деньги. *Прежде всего* нужна любовь.

— Ну, а после нее—деньги? Ведь за хлеб купцу нужно заплатить деньгами, а не любовью.

— За деньгами дело не станет, их всегда легко собрать. То и горе у нас, что от всякого дела люди откупаются деньгами.

— Вы думаете? Ну, так я вам вот что скажу: у меня тут три четверти города знакомых, а я много собрать не возьмусь.

Гаврилов пожал плечами.

— Странно! Я здесь никого не знаю, всего только три дня назад приехал, а берусь вам собрать в месяц пятьсот рублей.

— Ну, исполать вам!..—засмеялся Николай Иванович. Я расскажу вам один случай. Был у нас тут в городе студент-юрист; кончает курс, а средств никаких; выгоняют за невзнос платы. Ну, вот я и вздумал устроить сбор. Заезжаю, между прочим, в одну богатую купеческую семью, в которой состою врачом около пятнадцати лет. Барышни сидят—в брильянтах, в кружевах. Говорю им. Они поморщились. «Посмотрим, говорят, может быть, что-нибудь найдем». Я к брату их: «Там с ними не сговоришься; вы, Платон Степаныч, энергичный человек,—возьмитесь за дело, как следует, ведь сами понимаете, нужно помочь!». И знаете, какой из этого вышел результат?

— Какой же вышел результат?

— Ну, как вы думаете?

— Ну-с?

— С тех пор меня перестали приглашать в этот дом!—отрезал Николай Иванович и стал закуривать папиросу.

Гаврилов внимательно смотрел на него.

— Зачем вы лечите таких?—спросил он, чуть дрогнув бровью.

Николай Иванович запнулся от неожиданности вопроса и пожал плечами.

— Странное дело! Врач обязан лечить всякого.

Гаврилов продолжал лукаво смотреть на него и беззвучно смеялся.

— Какого же рода «активной работы» желае вы от меня?—спросил Николай Иванович, нахмурившись.—Прикажете итти в деревню, в народ?

— Народ не только в деревне, а и в городах, везде,—и везде он нуждается в помощи. Нужно только одно: чтоб не господа благодетельствовали мужичью, а братья помогали братьям. Когда погорелец приходит к мужику, мужик сажает его за стол, кормит обедом и дает копейку,—погорелец знает, что он—товарищ, потерпевший несчастие. Когда погорелец приходит к барину, барин высылает ему через горничную пятачок,—погорелец—нищий и получает милостыню. А милостыня есть худший из всех развратов, потому что она одинаково деморализует и дающего, и берущего. Господа с'езжаются с разных концов города и с увлечением спорят о шансах Гладстона на избирательную победу или об исполнимости проектов Генри Джорджа; а тут же в подвале идет не менее ожесточенный спор о том, какая божья матерь добрее—ахтырская или казанская, и на скольких китах стоит земля. Это—два различных мира, не имеющих между собою ничего общего...

Николай Иванович нетерпеливо закачал ногою. Гаврилов со смиренною улыбкою спросил:

— Извините, может быть, я вам наскучил?

— Нет, что же-с? Сделайте одолжение. Но только... Я вот все время очень внимательно слушаю вас и все-таки никак не могу понять, что же я... обязан делать.

— Ближе стать к братьям, больше ничего; помогать им, а не благодетельствовать, не беречь для себя знаний, которые должны быть достоянием всех...

— Да-с?—выжидательно сказал Николай Иванович.

— Приближается холера. Народ голодает,—это лучшая почва для нее; народ невежествен,—и это отнимает у него последние средства защиты. Пора же сознать, что, когда люди кругом умирают, стыдно роскошествовать (Гаврилов беглым взглядом оглядел стол с стоявшими на нем закусками). Я всего три дня здесь, но уж видел прямо ужасающие картины нищеты,—нищеты стыдливой и робкой, боящейся просить. Люди десятками ютятся в зловонных конурах, а мы занимаем по пяти-шести комнат; люди рады, если раздобудутся к обеду парою картофелин, а мы наедаемся так, что не можем шевельнуться. И если такие люди приходят к нам, мы смотрим на них не со стыдом, а с пренебрежением, и не пускаем их дальше передней. Выход только один: сознать, что *нечестный человек* тот, кто не хочет понять этого, братски разделить с обиженными свой дом, стол, все; доказать, что мы действительно хотим помочь, а не убаюкать только свою совесть.

— Если я вас понял,—проговорил Николай Иванович, сдерживая под усами улыбку,—вы мне предлагаете пригласить к себе в дом три-четыре нищих семьи, поселить их здесь, кормить, поить и обучать... Так?

— Да-с!—ответил Гаврилов, и по губам его снова пробежала чуть заметная усмешка.

Николай Иванович с любопытством смотрел на своего гостя. Наташа, подперев рукою подбородок и нахмурившись, также не спускала глаз с Гаврилова.

— Ну, скажите, г. Гаврилов,—увещавающим тоном заговорил Николай Иванович,—неужели же вам не стыдно говорить такой вздор?

— Почему вы полагаете, что это вздор?—спросил Гаврилов с своею быстрою усмешкою, нисколько не обидевшись.

— Мне бы еще было понятно ваше предложение, если бы дело шло просто о какой-нибудь определенной семье, которой нужна

помощь. Но вы, насколько я вас понимаю, видите во всем этом прямо какое-то универсальное средство.

— Если вы один так поступите, то этого, разумеется, будет мало. Но важна идея, пример. Вы—один из наиболее уважаемых людей в городе; ваш почин сначала, может быть, вызовет недоумение, но затем найдет подражателей. Потому и не удается у нас ничего, что все руководствуются лживою, но очень удобною пословицею: «один в поле не воин».

— Д-да, картина, во всяком случае, довольно умилительная: мы работаем, выбиваясь из сил, втрое больше прежнего, а «братья»-постояльцы бьют себе баклуши на готовых хлебах... Воображаю, какую массу «братьев» мы расплодим по городу!

— Они вовсе не должны бить баклуши, они должны работать. Дайте им работу.

— Где мне ее прикажете взять?

— Работа всегда найдется. Пусть они чистят у вас сад, подметают двор, колют дрова. Они сами будут рады.

Николай Иванович с усмешкою махнул рукою.

— Ну, хорошо! Допустим, что все это легко исполнимо, что им найдется работа, что они сами будут рады; допустим, что этим путем мы в состоянии обновить мир. Но что прикажете в таком случае делать всем с собственными семьями?—И он в комическом недоумении развел руками.

— Семьи можно бы в настоящее время и не иметь,—сказал Гаврилов, понизив голос.

Николай Иванович быстро поднял голову и пристально посмотрел на Гаврилова.

— А-а!—расхохотался он, вставая.—Теперь, батенька, я вас узнал. Это—известная Zweikindersystem или, еще лучше, «Крейцерова Соната»! Только, батюшка, вы немножко опоздали: уж и в Западной Европе давно доказана вздорность всего этого. Вы—толстовец!

Гаврилов чуть заметно улыбнулся.

— Я не слыхал, чтоб «все это» давно было опровергнуто в Западной Европе, а Zweikindersystem тут не при чем. Это—старая истина, которая *не может* быть опровергнута. «Я пришел разделить

человека с отцом его и дочь с матерью ее. И *враги человеку—домашние его*»,—сказал Иисус...

Николай Иванович резко прервал его:

— Извините, пожалуйста! Я не знаю, что это за Иисус, я знаю только Иисуса Христа.

— Виноват!—почтительно ответил Гаврилов.—Я хочу сказать, что в настоящее время, когда все общество построено на крайне ненормальных отношениях, явления, сами по себе нормальные, становятся противоестественными и греховными. На человеке лежит слишком много обязанностей, чтоб он мог позволить себе иметь семью.

Гаврилов стал говорить о ненормальности строя теперешнего общества, о разделении труда и проистекающих отсюда бедствиях, об аристократизме науки и искусства, о церкви, о государстве. Говорил он, подняв голову и блестя глазами, голосом проповедника-фанатика. Николай Иванович слабо зевнул и вынул часы.

— Господа, однако, уж восьмой час!—обратился он к нам.— Нужно велеть подавать лошадей, а то вам придется ехать совсем в темноте.

Гаврилов поднялся с места.

— Я, кажется, слишком долго засиделся,—сказал он со смущенной улыбкой.—Извините меня. Честь имею кланяться. Так на вас, значит, мы рассчитывать не можем?

— Мы?—переспросил Николай Иванович и поднял брови.— У вас что же, партия целая есть?

— Да, «партия» людей, которые думают, что общее благо должно ставить выше личного.

Когда Гаврилов ушел, Николай Иванович облегченно вздохнул.

— Господи, боже ты мой!—воскликнул он, оглядывая нас.— Сколько чуши можно нагородить в какие-нибудь короткие полчаса!

Наташа сумрачно взглянула на него и молча наклонилась над чашкой. Мне было неловко: правда, нелепостей было сказано достаточно, но... мне вдруг глубоко антипатичен стал Николай Иванович, и я не думал раньше, чтоб он был таким мещанином.

Подали лошадей. Мы простились и уехали. Город остался назади. Мы долго молчали.

— Да, этот человек, по крайней мере, знает, чего хочет, и верит в это, — сказал я, наконец.

Наташа быстро подняла голову, взглянула на меня и снова начала смотреть на тянувшиеся по сторонам поля.

— И все-таки он лучше всех, которые там были,—процедила она сквозь зубы, с злым, угрюмым выражением на лице.

Всю остальную дорогу мы лишь изредка перекидывались незначащими замечаниями. Наташа упорно смотрела в сторону, и с ее нахмуренного лица не сходило это злое, жесткое выражение. Мне тоже не хотелось говорить. Солнце село, теплый вечер спускался на поля; на горизонте вспыхивали зарницы. Тоскливо было на сердце.

7 июля.

Довольно было этой случайной встречи, чтобы все так долго созидаемое душевное спокойствие разлетелось прахом,—и вот я опять не знаю, куда деваться от тоски. Мне вспоминается страстная речь этого человека, вспоминается жадное внимание, с каким его слушала Наташа; я вижу, как карикатурно-убога его программа, и все-таки чувствую себя перед ним таким мелким и жалким. И передо мною опять и опять встает вопрос: ну, *а я-то, чем же я живу?*

Время идет,—день за днем, год за годом... Что же, так всегда и жить,—жить, боясь заглянуть в себя, боясь прямого ответа на вопрос? Ведь у меня *ничего* нет. К чему мне мое честное и гордое миросозерцание, что оно мне дает? Оно уже давно мертво; это не любимая женщина, с которою я живу одной жизнью, это лишь ее труп; и я страстно обнимаю этот прекрасный труп и не могу, не хочу верить, что он нем и безжизненно-холоден; однако, обмануть себя я не в состоянии... Но почему же, почему нет в нем жизни?

Не потому ли, что все мое внутреннее содержание— лишь красивые слова, в которые я сам не верю? Но разве же можно бояться слов больше, чем я боюсь, разве можно больше верить, чем я верю? И я не «лишний человек». Я ненависть чувствую ко всем этим ту-

неядцам, начиная с темного Чулкатурина [1]) и кончая блестящим Плошовским [2]); я не могу простить нашей чуткой славянской литературе, что она благоуханными цветами поэзии увенчала людей, заслуживающих лишь сатирического бича. Меня не пугает нужда, не пугает труд; я с радостью пойду на жертву; я работаю упорно, не глядя по сторонам и живя душою только в этом труде. И все-таки... все-таки мне постоянно приходится повторять себе это, и я ношусь со своею чахоткою, как молодой чиновник с первым орденом. Пусто и мертво в сердце; кругом посмотришь,—жизнь молчит, как могила.

8 июля.

Сегодня после ужина Вера с Лидой играли в четыре руки пятую симфонию Бетховена. Страшная это музыка: глубоко-тоскующие звуки растут, перебивают друг друга и обрываются, рыдая; столько тяжелого отчаяния в них. Я слушал и думал о себе.

Наташа стояла на балконе, облокотясь о решетку, и неподвижно смотрела в темный сад. Да, и ей нелегко... В речах этого Гаврилова на нее пахнуло из другого мира, далекого и светлого,— мира, в котором нет сомнений, в котором все живо и сильно. Но где путь туда? Я смотрел на Наташу, и у меня сжималось сердце: как грустно опущена ее голова, сколько затаенного страдания во всей ее фигуре... Почему так дорога стала мне эта девушка? Мне хотелось подойти к ней, крепко пожать ей руку. Но что я скажу ей, и на что ей мое сожаление? Она его отвергнет.

А звуки попрежнему горько плакали. Чище и глубже становилось от них горе. И мне казалось, я найду, что сказать...

Я вышел на балкон. Недавно был дождь, в влажном саду стояла тишина, и крепко пахло душистым тополем; меж вершин елей светился заходящий месяц, над ним тянулись темные тучи с серебристыми краями; наверху сквозь белесоватые облака мигали редкие звезды.

— Хочешь, Наташа, на лодке ехать?—спросил я, помолчав.

---

[1]) «Дневник лишнего человека», Тургенева.

[2]) «Без догмата», Сенкевича.

Наташа очнулась и оглядела меня недоумевающим, отчужденным взглядом.

— Пойдем,—сказала она.

Мы спустились по влажной тропинке к реке.

— Как река прибыла!—тихо сказала Наташа, видимо, чтоб только сказать что-нибудь.

— Да. И посмотри, какая тишина кругом: голосов ночи совсем нет. Это так всегда после дождя.

— А ну!—Наташа остановилась и стала слушать. Потом пошла дальше.

Теперь я видел, что обманулся в себе: я не знал, как начать и о чем говорить.

Мы сели в лодку и отплыли. Месяц скрылся за тучами, стало темней; в лощинке за дубками болезненно и прерывисто закричала цапля, словно ее душили. Мы долго плыли молча. Наташа сидела, попрежнему опустив голову. Из-за тёмных деревьев показался фасад дома; окна были ярко освещены, и торжествующая музыка разливалась над молчаливым садом; это была последняя, заключительная часть симфонии,—победа верящей в себя жизни над смертью, торжество правды и красоты и счастья бесконечного.

Наташа вдруг подняла голову.

— Митя! Помнишь, мы раз с тобою шли по саду, я тебя спрашивала, что мне делать? Ты говорил тогда про сельскую учительницу. Скажи мне правду: ты верил в то, что говорил?

Я несколько времени молчал; я не ожидал, что она так прямо, ребром, поставит вопрос.

— Что тебе сказать на это?—ответил я, наконец.—Верил ли я? Да, Наташа, я верил. Но... Ты хочешь правды. Я видел, как ты смотрела на меня, когда я сюда приехал, видел, что ты чего-то ждала от меня. Меня это очень мучило, но что я мог сделать? Ты от *меня* ожидала разрешения своих вопросов! Голубушка, ты ошиблась. Рассказывать ли тебе, как я прожил эти три года? Я только обманывал себя «делом»; в душе все время какой-то настойчивый голос твердил, что это не то, что есть что-то гораздо более важное и необходимое; но где оно? Я потерял надежду найти. Боже мой, как это

тяжело! Жить—и ничего не видеть впереди; блуждать в темноте, горько упрекать себя за то, что нет у тебя сильного ума, который бы вывел на дорогу,—как будто ты в этом виноват. А между тем, идет время...

Есть силы,—боже, гибнут силы!
Есть пламень честный,—гаснет он!

Ты подозреваешь, что я сам не верю... Не верю? Наташа, голубушка, я верю, всею силою души верю,—это ты ошибаешься. Люби ближнего твоего, как самого себя,—нет больше этой заповеди. Если бы ее не было, мне страшно, что бы было со мною. И ты поверишь, что я не фразы говорю. Но тебе нужно другое. Жить для других, работать для других... Все это слишком обще. Ты хочешь идеи, которая бы наполнила всю жизнь, которая бы захватила целиком и упорно вела к определенной цели; ты хочешь, чтоб я вручил тебе знамя и сказал: «вот тебе знамя,—борись и умирай за него»... Я больше тебя читал, больше видел жизнь, но со мною то же, что с тобой: *я не знаю*!—в этом вся мука.

Наташа сидела, подперев подбородок рукою, и сумрачно слушала. Как не похожа была она теперь на ту Наташу, которая две недели назад, в этой же лодке с жадным вниманием слушала мои рассказы о службе в земстве! И чего бы я не дал, чтобы эти глаза взглянули на меня с прежнею лаской. Но тогда она ждала от меня того, что дает жизнь, а теперь я говорил о смерти, о смерти самой страшной,—смерти духа. И позор мне, что я не остановился, что я продолжал говорить...

Я говорил ей, что я не один такой: что все теперешнее поколение переживает то же, что я; у него *ничего* нет,—в этом его ужас и проклятие. Без дороги, без путеводной звезды, оно гибнет невидно и бесповоротно... Пусть она посмотрит на теперешнюю литературу,—разве это не литература мертвецов, от которых ничего уже нельзя ждать? Безвременье придавило всех, и напрасны отчаянные попытки выбиться из-под его власти.

Наташа все время не выронила ни слова. Она взялась за руль и повернула лодку. Назад мы плыли молча. Месяц закатился, черные тучи ползли по небу; было темно и сыро; деревья сада глухо

шумели. Мы подплыли к купальне. Я вышел на мостки и стал привязывать цепь лодки к столбу. Наташа неподвижно остановилась на носу.

— Я все-таки думаю, что ты ошибаешься,—тихо сказала она, глядя вдоль реки, тускло сверкавшей в темноте.—Неужели, правда, необходимо быть таким рабом времени? Мне кажется, что ты перенес на всех то, что сам переживаешь.

Я с усмешкой пожал плечом.

— Дай бог!

Я вышел на берег. Наташа попрежнему неподвижно стояла в лодке.

— Ты еще не пойдешь домой?

— Нет,—коротко ответила она.

Я стал подниматься по крутой, скользкой тропинке. Когда я был уже в саду, я услышал внизу, по реке, ровный стук весел: Наташа снова поехала на лодке.

И вот уже час прошел, а я все сижу у стола,—без мысли, без движения; в голове пустота. На дворе идет дождь, черный сад шумит от ветра, тоскливо и однообразно журчит вода в дождевом желобе... Наташа еще не возвращалась.

10 июля.

Наташа все эти дни избегает меня. Мы сходимся только за обедом и ужином. Когда наши взгляды встречаются, в ее глазах мелькает жесткое презрение... Бог с нею! Она шла ко мне, страстно прося хлеба, а я—я положил в ее руку камень; что другое могла она ко мне почувствовать, видя, что сам я еще более нищий, чем она?.. И кругом все так тоскливо! Холодный ветер дует не переставая, небо хмуро и своими слезами орошает бессчастных людей.

9 час. вечера.

Сейчас нарочный привез мне со станции телеграмму из Слесарска: городская управа уведомляет, что я принят на службу, и просит приехать немедленно. Слава богу! Еду завтра вечером.

11 июля. 12 час. ночи.

Я в Слесарске: приехал я всего полчаса назад. Ну, и городишко! Гостиниц нет, пришлось остановиться на постоялом дворе. Мне отвели узенькую комнату с одним окном. Синие потрескавшиеся обои; под тусклым зеркальцем—стол, покрытый грязной скатертью с розовыми разводами; щели деревянной кровати усеяны очень подозрительными пятнышками. Кругом все глубоко спит, пальмовая свеча слабо освещает стены; потухающий самовар тянет тонкую-тонкую нотку; замолкнет на минутку, словно прислушиваясь, поворчит— и опять принимается тянуть свою нотку. Спать еще не хочется; буду вспоминать сегодняшний день.

К обеду приехал в Касаткино Виктор Сергеевич Гастев. Я укладывался у себя наверху и сошел вниз, когда все уже сидели за столом.

— А-а, доктор! Здравствуйте!—встретил меня Виктор Сергеевич, высоко поднял руку и мягко опустил ее мне в ладонь.—Все ли в добром здоровьи?

— Вот, Виктор Сергеевич,—сказал дядя с тем юмористическим выражением на лице, которое у него всегда является при гостях,—сей молодой человек, не желая спасать от холеры нас, уезжает на войну с холерными запятыми в ваш Слесарск.

Виктор Сергеевич поднял брови.

— Вы-таки едете в Слесарск!?—недоверчиво спросил он.

— Разумеется,—ответил я, невольно улыбнувшись.

Он взял стоявшую перед ним рюмку с водкой и взглянул в нее на свет.

— А вы что же, Виктор Сергеевич, разве не сочувствуете сему геройскому подвигу?—спросил дядя тем же тоном.

Виктор Сергеевич опрокинул рюмку в рот и закусил селедкой.

— Отчего не сочувствовать?—равнодушно произнес он, вытирая салфеткою усы.—Убьют его там через неделю,—ну, так ведь это пустяки: он человек одинокий.

Тетя замахала руками.

— Да ну, Виктор Сергеевич! Типун вам на язык! Что это такое—«убьют»!

— Да очень просто! Вы не знаете, что такое наша слесарская мастеровщина, а я знаю хорошо. Вы вот раньше спросите-ка, что это за народ.

Он заткнул себе салфетку за жилет и принялся за борщ.

— Что же это за народ, Виктор Сергеевич?—спросила Соня.

Наташа, подняв голову, с ожиданием смотрела на него.

— Да вот, душенька, какой народ. Недели две назад позвали за реку доктора Чубарова к старухе одной; оказалась дизентерия. Он прописал ей лекарство, а кроме того—карболки, чтоб вылить в отхожее место. Старушка-то святая и рассуди: зачем «лекарствие» в такое место выливать? Да стаканчик раствору и хватила. Ну, к вечеру, разумеется, и лежала под образами. Назавтра приезжает доктор; собрался народ, окружил его и начал расправу; били его, били,—насилу полиция отняла. И теперь еще больной лежит. Розыски пошли, расследования... Четверых арестовали.

— О, боже ты мой!—в ужасе воскликнула тетя.—Ну, славу богу еще, что этого не так оставили: все таки на них теперь страх будет.

— Страх?—расхохотался Виктор Сергеевич.—Да, да-а... Через два дня после этого вдруг в чистом поле загорелся барак; весь сгорел, до последней щепочки. Теперь уже новый строят, кончают. Опять полиция нагрянула, опять аресты, розыски... Народ возбужден и озлоблен до крайности. И не скрывает никто, прямо говорят: пусть к нам доктора пришлют, мы с ним разделаемся. А слухи, слухи идут,—один другого нелепее. Недавно рассказывает мне горничная: доктора с полицией вломились к одному сапожнику, у которого болела голова; самого его уволокли в больницу, а инструменты его, товар,—все пожгли; теперь сапожника выпустили, но он совершенно разорен и стал нищим... Торговки на базаре громко рассказывают: дескать, выписывают к нам трех докторов, чтоб народ травить. Вчера еще приходит ко мне моя прачка, плачет. «Горе говорит, мне, барин, с сыновьями моими! Пришли они намедни с фабрики, рассказывают: ребята сговорились,—если докторов в Заречье пришлют, всех их разнести. Мы, говорят, тоже пойдем. Ника-

ких моих уговоров не слушают, погубят свои головы»... Ведь это уж сознательный заговор!—закончил Виктор Сергеевич, значительно мигнув бровями, и снова принялся за борщ.—И ведь говорил я все это Дмитрию Васильевичу, предупреждал его в Пожарске,—нет! Пришла охота на нож лезть!

Наташа быстро и пристально взглянула на меня; встретившись с моим взглядом, она отвела глаза в сторону, но я успел в них прочесть что-то странное: Наташа словно была удивлена тем, что я, посылая заявление из Пожарска, уже знал обо всем этом.

— Не так это, Виктор Сергеевич, страшно, как издали кажется,— неохотно заметил я.

— Да?—рассмеялся он.—А читали вы, что в Астрахани и Саратове делается?

— Нет. А что такое? (Последние газеты были только что привезены со станции, и я их еще не просматривал.)

Виктор Сергеевич стал рассказывать о разразившихся на Поволожье беспорядках, где толпа, обезумев от горя и ужаса, разбивала больницы и в клочки терзала людей, шедших к ней на помощь.

— Ну, вот видите!—закончил он.—Если там такие вещи происходят, то у нас и подавно произойдут, за это я вам ручаюсь. Помочь вы, все равно, ничего не поможете,—никто к вам и не обратится,—а погибнете совершенно напрасно. Пользы от этого никому ведь не будет, не так ли?.. Ну, во-от!..—И он добродушно захохотал.

— Да нет, Митечка, это ты, правда, в таком случае лучше не поезжай!—взволнованно сказала тетя.

Наташа встрепенулась.

— Ну, мама!..

— Да как же, душечка! Ведь они и в самом деле убьют его там: он даже и пользы никакой не принесет... А ну их совсем, не нужно и жалованья их в полтораста рублей!

— Да уж поздно теперь, тетя!—засмеялся я.—Не отказываться же, раз поступил!

Разговор перешел на другое.

После обеда подали кофе. На дворе уж запрягали тарантас. Мне было как-то особенно весело, и я с любовью приглядывался к окру-

жавшим лицам. Завязался общий разговор; шутили, смеялись. Я вступил с Верою в яростный спор о Шопене, в котором, как и вообще в музыке, ничего не понимаю, но который, действительно, возбуждает во мне безотчетную антипатию. Я любовался Верою, как она волновалась и в ужасе всплескивала руками, когда я называл классика Шопена «салонным композитором».

Наташа все время молчала; мы с нею не перемолвились ни словом. Но иногда, случайно обернувшись, я ловил на себе ее взгляд, быстрый и пристальный, — и у меня в душе все начинало смеяться.

Лошадей подали. Все вышли провожать меня на крыльцо. Пошло прощание. Тетя три раза перекрестила меня и, обнимая, тихо всхлипнула.

После всех я подошел к Наташе. Она растерялась и робко подняла на меня глаза,—детски-восторженные, любящие... Я обнял ее. Наташа вдруг охватила мою шею руками и крепко, горячо поцеловала меня. А всегда она целует неохотно и отрывисто, словно кусает.

Я ехал в вагоне, высунувшись из окна, смотрел, как по ночному небу тянулись тучи, как на горизонте вспыхивали зарницы, и улыбался в темноту.

3 часа ночи.

Лег-было спать, но заснуть не удалось. Тысячи голодных клопов так и облепили тело. Проворочался два часа. Все равно, не заснешь. Светает, в окно видна широкая, пустынная улица; маленькие домики спят беспробудно...

Я хочу искренно ответить себе на вопрос: боюсь ли я? Нет, и мне это очень странно. Раньше я не представлял себе, как можно жить, окруженным всеобщею ненавистью; когда я видел раненых и изувеченных, мне порою приходила в голову мысль: неужели и со *мною* может когда-нибудь случиться подобное? Теперь же я представляю себе все это очень ясно—и только улыбаюсь. Как будто я теперь совсем другим стал. На душе светло и бодро, кругом все так необычно-хорошо, хочется борьбы и дела.

Вот оно, в холодном утреннем тумане тянется Заречье... Покорю ли я его, или оно меня раздавит?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

15 июля.

Я уже три дня в Чемеровке. Вот оно, это грозное Заречье!.. Через горки и овраги бегут улицы, заросшие веселой муравкой. Сады без конца. В тени кленов и лозин ютятся вросшие в землю трехоконные домики, крытые почернелым тесом. Днем на улицах тишина мертвая, солнце жжет; из раскрытых окон доносится стук токарных станков и лязг стали; под заборами босые ребята играют в лодыжки. Изредка пробредет к реке, с простынею на плече, отставной чиновник или семинарист.

К вечеру улицы оживляются. Кустари заканчивают работы, с фабрик возвращается народ. Поужинав, все высыпают за ворота. Вдали, окутанный синим туманом, глухо шумит город; под лучами заходящего солнца белеют колокольни, блестят кресты церквей. Сумерки сгущаются. Я люблю в это время бродить по Чемеровке. У покосившихся ворот, под нависшею ивою, стоит девушка и, кутаясь в платок, слушает говорящего ей что-то мастерового; мне нравится ее открытая русая головка, нравится счастливый, смеющийся взгляд исподлобья, который она порою бросает на собеседника. Где-то мычит корова, из чащи сада несется заунывная песня... Гаснет заря, яркие звезды зажигаются в небе; темно на улицах, но в темноте чувствуется жизнь, слышен говор, сдержанный женский смех... К одиннадцати часам все смолкает; ни огонька во всем Заречье, везде спят, и только собаки бесшумно снуют по пустынным улицам.

Я нанял квартиру на конце Заречья у мещанина, содержащего фруктовый сад; весь домик в три комнаты я занимаю один. Крыльцо и окна приемной выходят на улицу, из спальни виден сад с яблонями и длинными рядами кустов черной смородины, крыжовника, барбариса.

Барак стоит за городом, на лугу, рядом с обугленными развалинами прежнего барака. В нем уютно и весело, пахнет свежим деревом. При бараке—фельдшер-хохол Харлампий Алексеевич Прищепенко. Говорит он медленно и почтительно, высоко поднимая брови и припечатывая каждую фразу словом «да!». Расспрашивал

я фельдшера о настроении зареченцев, о пожаре барака; он рассказывал обо всем обстоятельно и спокойно, как о чем-то вполне обычном; потом перешел к тому, что нужно бы сделать кое-какие закупки для барака... Признаться, совестно мне стало за мое повышенное настроение духа.

Все бы хорошо в бараке, но низший персонал!.. Интересно, откуда к нам набрали таких. Один служитель, Павел,—маленький человек с мутными, блудливыми глазами, которыми никогда не смотрит в лицо; одет он в пиджак и штаны на выпуск; по всему видно,—прощелыга, прельстившийся высокой платой. Сегодня под моим руководством он приготовлял серно-карболовый раствор. Когда я сказал ему, чтоб он поосторожнее обращался с серной кислотой,—на руку попадет, так всю руку разъест,—в глазах Павла мелькнуло что-то, что трудно описать; но я голову даю на отсечение, что поступил он к нам в барак, как поступил бы... в шайку разбойников. Другой служитель, Федор,—неповоротливый деревенский парень с сонным и глуповатым лицом. И вот весь наш, с позволения сказать, «санитарный отряд».

17 июля.

Я уже несколько дней назад вывесил на дверях объявление о бесплатном приеме больных; до сих пор, однако, у меня был только один старик-эмфизематик, да две женщины приносили своих грудных детей с летним поносом. Но все в Чемеровке уже знают меня в лицо и знают, что я доктор. Когда я иду по улице, зареченцы провожают меня угрюмыми, сумрачными взглядами. Мне теперь каждый раз стоит борьбы выйти из дому; как сквозь строй, идешь под этими взглядами, не поднимая глаз.

18 июля.

Все вокруг как будто спокойно, но что-то зловещее носится в воздухе, нервы напряжены. Через фельдшера, через кухарку, отовсюду до меня доходят странные слухи: меня будто видели ночью у молчановского колодца, видели, что я сыпал в него какой-то порошок; молотобойцы из кузницы погнались за мною, но я перепрыгнул

через забор в баташовский сад и скрылся. Другие видели, как ночью провезли в барак целый обоз гробов и крючьев. Собираются, будто, вторично поджечь барак, перебить полицию и медицинский персонал. Я стараюсь уверить себя, что не боюсь, но при каждой пьяной песне на улице, при каждом стуке сердце неприятно вздрагивает.

19 июля. Воскресенье.

Сегодня вечером я получил по почте безграмотное письмо. Анонимный доброжелатель предварял меня, что этою ночью «ребята» собираются разгромить мою квартиру. Когда я читал письмо, за мною прислали от покровского священника, с дочерью которого случился припадок. Возвращался я домой по Ключарной улице. Было темно; тучи низко нависли над городом; накрапывал дождь. Дверь кабака раскрылась, тусклая полоса света легла на дорогу и отразилась в луже. Две тени неслышно перешли улицу и скрылись около пустыря. Мне приходилось итти мимо. Оборванный, босой мужчина в широких штанах прятался в углублении калитки, молча и внимательно следя за мною взглядом: я невольно выпрямился и, проходя, сжал в руке палку. Сзади опять появились две тени; до меня донеслось слово: «доктор». Я свернул на Мотякинскую улицу, потом на Серебрянку. Тени следовали за мною по ту сторону улицы, прячась у заборов.

Воротился я домой. Перепуганная кухарка собщила, что сейчас приходила кучка пьяных чемеровцев и спрашивала меня. Ее уверениям, что меня нет дома, они не поверили, и начали ломиться в дверь. Прохожий сказал им, что только-что видел меня у церкви Николы-на-Ржавцах. Они все двинулись туда по Ямской улице.

— Вы бы, барин, до завтраго уехали бы в город,—посоветовала кухарка.—Долго ли до греха? Народ пьяный, в голове бог знает что...

— Эх, Авдотьюшка, не так все это страшно!—засмеялся я, потрепав ее по плечу.—Что они мне сделают? И здесь переночуем, не велика беда.

Уехать в город... Не захватить ли мне с собою кстати и фельдшера с служителями, чтобы в случае заболевания никого из нас не могли найти?

Авдотья улеглась спать. Мне не спится, и я сижу за письменным столом.

Что скрываться перед собою? Мне тяжело и страшно. Страшно этой темноты, страшно того, что нельзя защищаться. Когда я подумаю: вот сейчас ворвутся сюда эти люди,—безумный ужас овладевает мною, и я не могу примириться с мыслью: да как это возможно!? За что?

Дождь тихо капает по листьям, в темном саду слышатся смутные шорохи. И я тут один...

21 июля.

Я лег вчера спать в первом часу ночи. Только-что задремал, как в комнату раздался стук. Авдотья просунула голову в дверь и доложила, что пришел фельдшер. У меня в предчувствии ёкнуло сердце; я велел позвать его и зажег свечу.

В комнату медленно и неслышно вошел Харлампий Алексеевич, бледный, с широко раскрытыми глазами. Гробовым голосом он об'явил:

— Дмитрий Васильевич, у нас в Заречье холера!

— Да ну?

— Настоящая: с рвотой, с судорогами... На Ключарной улице. Слесарь Черкасов.

— Что, вы сами видели? Были вы уж там?

— Был-с. За мною в барак присылали. Я велел воду греть и вот к вам пришел.

Я стал торопливо одеваться. По груди и спине бегала мелкая, частая дрожь, во рту было сухо; я выпил воды. «Нужно бы поесть чего-нибудь,—мелькнула у меня мысль.—На тощий желудок нельзя выходить... Впрочем, нет: я всего полтора часа назад ужинал». Я оделся и суетливо стал пристегивать к жилетке цепочку часов. Харлампий Алексеевич стоял, подняв брови и неподвижно уставясь глазами в одну точку. Взглянул я на его растерянное лицо,—мне стало смешно, и я сразу овладел собою.

— Ну, вот и практика у нас с вами появилась!—сказал я с улыбкой.—Вы все захватили, что нужно?

Мы вышли на улицу. Передо мною, отлого спускаясь к реке, широко раскинулось Заречье; в двух-трех местах мерцали огоньки, вдали лаяли собаки. Все спало тихо и безмятежно, а в темноте вставал над городом призрак грозной гостьи...

На Ключарной улице мы вошли в убогий, покосившийся домик. В комнате тускло горела керосинка. Молодая женщина с красивым, испуганным лицом, держа на руках ребенка, подкладывала у печки щепки под таганок, на котором кипел большой жестяной чайник. В углу, за печкой, лежал на дощатой кровати крепкий мужчина лет тридцати,—бледный, с полузакрытыми глазами; закинув руки под голову, он слабо стонал.

— Добрый вечер!—сказал, я, снимая пальто.

— Здравствуйте!—ответила молодая женщина, взглянув на меня, и сейчас же снова повернулась к печке.

Я подошел к больному и пощупал пульс. Рука была холодная, но пульс прекрасный и полный.

— Давно его схватило?—спросил я молодую женщину.

— После обеда сегодня,—ответила она, не глядя на меня.— Пришел с работы, пообедал, через час и схватило.

Говорила она неохотно, словно старалась отвязаться от тех пустяков, с которыми я к ней приставал. И вообще держалась она со мною так, как будто я был случайно зашедший с улицы человек, только мешавший ей в ее важном деле.

— Ну, что, Черкасов, как себя чувствуете?—спросил я больного.

— Нутро жжет, ваше благородие, мочи нет; тошно на сердце.

— Хотите воды со льдом?

Фельдшер подал ему ковш. Он припал губами к краю, жадно глотая воду.

— С чего это случилось с вами?—спросил я.—Не поели ли вы сегодня тяжелого?

Черкасов снова лег на спину.

— С молока это, ваше благородие: пришел я с работы уставши, поел щей, а потом сейчас две чашки молока выпил.

Он замолчал и закрыл глаза. Фельдшер готовил горчичник. Я вынул из кармана порошок каломеля.

— Ну, Черкасов, примите порошок!—сказал я.

Его жена быстро подошла ко мне и остановилась, следя за каждым моим движением. Черкасов решительно ответил:

— Нет, ваше благородие, это вы оставьте: не стану я порошков принимать!

Я сдерживал улыбку.

— Вы думаете, я вас отравить хочу? Ну, вот вам два порошка, выбирайте один; другой я сам приму.

Черкасов поколебался, однако взял порошок; другой я высыпал себе в рот. Жена Черкасова, нахмурив брови, продолжала пристально следить за мною. Вдруг Черкасов дернулся, быстро поднялся на постели, и рвота широкою струею хлынула на земляной пол. Я еле успел отскочить. Черкасов, свесив голову с кровати, тяжело стонал в рвотных потугах. Я подал ему воды. Он выпил и снова лег.

— Ну, Черкасов, примите же порошок!

— А ну, выпейте-ка допрежь того воды вашей,—проговорила жена Черкасова, враждебно глядя на меня.

— Ты, матушка, слишком-то не дури!—строго прикрикнул фельдшер.—С чего это доктор вашу воду пить станет?

— Вода наша, я знаю, а лед-то ваш!

Я улыбнулся и взглянул на фельдшера.

— Ну, что ты с нею станешь делать? Давайте вашу воду.

У меня смутно шевелилась надежда, что воду она мне даст в чистой посуде. Жена Черкасова взяла ковш, стоявший у постели мужа и протянула его мне. У меня упало сердце.

«Да ведь отсюда только сейчас холерный пил!»—со страхом подумал я, поднося ковш к губам. Мне ясно помнится этот железный, погнутый край ковша и слабый металлический запах от него. Я сделал несколько глотков и поставил ковш на стол.

Черкасов принял порошок. Фельдшер положил ему на живот горчичник. Стало тихо. Больной лежал, неподвижно вытянувшись. Керосинка, коптя и мигая, слабо освещала комнату. Молодая женщина укачивала плакавшего ребенка.

— Вы скажите, Черкасов, когда горчичник станет жечь,— сказал я.

— Ничего, ваше благородие, оно жжет, только приятно,—тихо ответил он.

Я сидел на табуретке, свесив голову. Теперь у меня в желудке тысячи холерных бацилл; есть там еще соляная кислота или нет? В животе слабо бурчало и переливалось.

— Опять ревматизм появился в ногах!—быстро проговорил Черкасов, начиная ежиться и двигаться на постели.—Аксинья! Три, ради бога!.. Три скорей!

Я пощупал под одеялом его ноги: мускулы икор судорожно сокращались и были тверды, как камень.

— О-ооо!.. О-ооо!..—протяжно стонал больной, дрожа и вытягиваясь во весь рост. Мы стали оттирать его горячими бутылками и камфорным спиртом.

Судороги постепенно слабели. Черкасов закинул за голову мускулистые руки и лежал с полуоткрытыми глазами, изредка тяжело вздыхая. Павел подавал ему воду, и он жадно пил ее целыми ковшами.

В комнату вошла толстая, немолодая женщина с бойким лицом и черными бровями.

— Здравствуйте, господин доктор!.. Ну, что, соседушка, как муженек?

— Да лежит вот!

— Говорите-ка вот с ними, господин доктор!.. Ни за что за вами не хотели посылать: пройдет, говорят, и так. А я смотрю, уж кончается человек, на ладан дышит. Что ты, я говорю, Аксиньюшка, али ты своему мужу не жена? Тут только один доктор и может понимать.

— Чем раньше будете за мною посылать, тем лучше,—сказал я.—Ведь это такая болезнь: захватишь в начале,—пустяками отделаешься. А у вас как? «Пройдет» да «пройдет», а как уж плохо дело, так за доктором. После обеда схватило, сейчас бы и послали. Давно бы здоров был.

— Да ведь... миленький! Ну, как же иначе? Вон, говорят, кругом болезнь ходит. Доктора учатся, они понимают. А что пустяки-то разные болтают в народе, так нешто все переслушаешь?

Больной пошевелился на постели.

— Уж больно жжет горчичник, прикажите снять, ваше благородие!

Вскоре опять началась рвота. Больной слабел, глаза его тускнели, судороги чаще сводили ноги и руки, но пульс все время был прекрасный. Мы втроем растирали Черкасова. Соседка ушла. Аксинья сидела в углу и с тупым вниманием глядела на нас.

Светало. Я сполоснул руки сулемою и вышел наружу покурить. На улице было безлюдно; в березах соседнего сада чирикали воробьи. Аксинья тоже вышла.

— Вот что, голубушка,—сказал я,—вы всю эту посуду, из которой пил больной, отставьте в сторонку и не пейте из нее сами, а то заразитесь. И одеяло, и пальто, которым он покрыт, отложите. Нужно будет все это в горячей воде прокипятить.

— Нам что ж? Кипятите.

Аксинья помолчала.

— Ему весть была дана,—проговорила она, глядя в даль.

— Какая весть?

— Утром вчера шел через мост, его ласточка крылом задела. Пришел к обеду, сказывал.

— Ну, пустяки! Какая там весть! Бог даст, выздоровеет.

Я воротился в комнату. Больной затих и лежал спокойно, закрыв глаза и держа в руках горячую бутылку; иногда только судороги схватывали его ноги, и лицо болезненно перекашивалось.

Бледное утро смотрело в окна. Фельдшер, понурив голову, дремал на табуретке; больной, укутанный тремя одеялами, также задремал. Стало тихо. В низкой комнате было темно и душно, несмотря на открытые окна; керосинка тускло освещала грязную, промасленную поверхность стола и выступ печи; пахло тараканами и керосином. Я сидел на постели Черкасова и под одеялом водил горячею бутылкою по его ногам. В люльке лежал под кучею красных тряпок грязный, бледный ребенок, с огромными ушами. Он не спал; подняв безволосые брови, он молча и пристально смотрел на меня, изредка двигая по одеялу худыми, как спички, ручонками. Я тоже смотрел на него... Для чего любовь этих двух сильных, красивых

людей, дающая в результате таких жалких, рахитических уродцев? И для чего вообще они трудятся, что поддерживает их в их тяжелой работе? Неужели забота об этом смрадном угле?

Черкасов начал тихонько всхрапывать. Я велел фельдшеру полить сулемою пол, а сам с Аксиньей и Павлом вышел из комнаты, чтоб дезинфицировать отхожее место. Увы! Его не оказалось, и пришлось полить чуть не весь дворик.

Когда мы воротились, больной попрежнему тихо спал. Фельдшер, сидя на табуретке, в сонливой задумчивости смотрел в одну точку и клевал носом. Я отпустил его с Павлом домой и остался один. Аксинья прикурнула на сундуке и тоже задремала. Я еще с час просидел на завалинке, куря и любуясь восходом солнца. Черкасов крепко спал. Он был вне опасности. Дезинфекцию приходилось отложить, чтобы дать больному выспаться. Я разбудил Аксинью, еще раз повторил ей, чтоб посуду, белье, одежду она не трогала до нашего прихода, и отправился домой.

В десять часов утра мы явились произвести дезинфекцию. Черкасов, в чистой топорщившейся ситцевой рубахе и блестящих сапогах, стоял у ворот, держа на руках ребенка.

— Вот уж как!—с радостным удивлением воскликнул я.— Вы ли это, Черкасов? Ну, молодец!.. Здравствуйте!

— Здравствуйте, ваше благородие!

— Как вы себя чувствуете?

— Да как есть здоров. Спосибо, ваше благородие, что отходили. А намедни так уж и думал, что помирать пора пришла.

— Ну, так вот же что, Черкасов, вы теперь будьте поосторожнее с едою, не ешьте зелени и ничего тяжелого. Лучше всего с'ешьте сегодня яичко всмятку, да чаю выпейте с коньяком, я вам дам.

— Слушаю-сь! Да вы пожалуйте в горницу.

Я вошел в комнату—и остановился. Боже мой, что я увидел! Земляной пол был подтерт чисто-начисто, посуда, вся перемытая, стояла на полке, а Аксинья, засучив рукава, месила тесто на скамейке, стоявшей вчера у изголовья больного. У меня опустились руки.

— Ну, скажите, пожалуйста, Аксинья, что вы такое сделали?— спросил я, через силу сдерживаясь.

— Что я такое сделала?

— Ведь я же вам сегодня утром несколько раз говорил: не подтирайте пола, отставьте всю посуду в сторону...

— Да что же ей грязной стоять?

— А то вот, что вы теперь по всему дому заразу разнесли! Понимаете вы это?.. Эх!..

Я махнул рукою и обратился к Черкасову:

— Ну, вот что, Черкасов: все-таки нужно будет комнату от заразы очистить. Все подушки, одеяло, которым вы вчера покрывались, дайте нам; мы их вам завтра отдадим. И комнату нужно будет хорошенько полить и обрызгать.

Фельдшер взял в руки бутыль с сулемой. Глаза Черкасова враждебно засветились, и он быстро сказал:

— Ну, нет, ваше благородие, это вы велите оставить!

— Вот-те раз!.. Да вы знаете ли, Черкасов, что у вас было? Ведь у вас *холера* была, заразительная болезнь; если не полить комнату, так зараза во все стороны поползет, по всему Заречью пойдет.

— Да окончательно сказать, у меня одни пустяки были: поел вчера щей с молоком, только и всего. Нешто это холера?

— Скажите, Черкасов, а вы видали когда-нибудь холеру?

— Н-нет, не видал.

— А я видал, и говорю вам, что это холера. Ведь нельзя же так об одном себе думать! Не убьешь заразы, она пойдет дальше; и соседей всех заразите и жену. Подумайте сами,—ну, разве же можно так?

В комнату вошла приходившая ночью соседка Черкасовых и остановилась у дверей.

— Да ни за что не дам поливать!—сказала Аксинья.—Польете карбовкой, вонь пойдет...

— Какая карболка? Сулема это, а не карболка! Понюхайте,— разве есть вонь?

Я протянул ей бутыль. Аксинья понюхала.

— Конечно, есть!

— Ну, да понюхайте же хорошенько! Ведь ничем не пахнет, как вода. Мы же ночью этим самым поливали.

— У меня вон дети и так еле дышат,—сказал Черкасов.— Польете карболкой, все перемрут.

— Да Иван Андреич, от карбовки вреда нету,—вмешалась соседка.—Вот у меня на всех-святых дитё умерло от горла; все карбовкой полили,—отлично! Это заразу убивает.

— Э, все это от бога!—сказала Аксинья.—Бог не захочет, ничего не будет.

— От бога?.. Скажите, Аксинья, зачем же вы меня ночью позвали?—спросил я.—Бог-то богом, а я вам говорю: если бы не позвали меня, ваш муж теперь в гробу лежал бы, знаете вы это? Ведь он уж кончался, когда я пришел.

— Кончался, как есть кончался!—подтвердила соседка.—Прихожу я,—уж холодать начал, и глаза закатил...

— За это я вам по гроб своей жизни благодарен,—сказал Черкасов, и поклонился.

— Да что мне от вашей благодарности! Как самому плохо, так доктора поскорее звать, а как дело до других, так сейчас: «все от бога».... И вам не стыдно, Черкасов? Ведь вы же не в поле живете, кругом люди! Если теперь кто по близости заболеет, вы знаете, кто будет виноват? Вы один, и больше никто!.. О себе позаботился, а соседи пускай заражаются?

— Да ведь я все только насчет детей,—сказал Черкасов, понизив голос.

— Ну, послушайте, Черкасов,—подумайте немножко, хоть что-нибудь-то можете вы сообразить? Я над вами всю ночь сидел, отходил вас,—хочу я вам зла, или нет? Что мне за прибыль ваших детей морить? А заразу нужно же убить, ведь вы больны были заразительною болезнью. Я не говорю уж о соседях,— и жена ваша, и дети могут заразиться. Сами тогда ко мне прибежите.

— Ну, ну, Иван, чего ты, в самом деле?—сказал фельдшер.— Словно баба какая, ничего не понимаешь!

Он взял бутылку и стал поливать пол.

— Да не дам я поливать!—крикнула Аксинья и бросилась к нему. Черкасов стоял, угрюмо и злобно закусив губу.

— Ну, матушка, ты здесь не слишком-то бунтуй!—сказал фельдшер.—А то мы полицию позовем.

— Дело не в полиции,—прервал я его, нахмурившись.—Полиции я звать не стану. Но скажите же, Черкасов, об'ясните мне, отчего вы не хотите дать полить?

— Так, ваше благородие, нет моего согласу на это.

— Да отчего же?

— Да окончательно сказать, не нужно это. Бог даст, и так все живы будем.

— Вот на Пасху у машиниста то же самое было,—сказала Аксинья.—Никакой карбовкой не поливали, все живы остались. А то карбовкой все обрызгаете... Ведь мы как живем? И сами у соседей то-другое занимаем, и им даем. А тогда нешто кто нам даст?

— Эк вам эта карболка далась! Да понюхайте же, господа, разве это пахнет карболкой?

Черкасов махнул рукою.

— Нет, ваше благородие, что разговаривать? Не дам я поливать!

— Ну, как хотите. Заставлять я вас не стану. Но помните, Черкасов: если теперь кто поблизости заболеет, *вы* будете виноваты! Прощайте!

Фельдшер удивленно вскинул на меня глазами и покорно последовал за мною.

И вот мой первый дебют. Скверно и тяжело на душе, мучит совесть: произвести дезинфекцию было необходимо, но что же я мог сделать? Оставалось только прибегнуть к полиции; дезинфекцию мы бы произвели, а дальше? Если из *ничего* создалась легенда о сапожнике, разоренном врачами и полицией, то какие слухи пошли бы теперь? Холерные скрывались бы до последней возможности, зараженные ими вещи прятались бы подальше и разносили заразу все шире... И все-таки я знаю, что на Ключарной улице, в том маленьком домике, гнездится очаг заразы, она, может быть, расползется по всему городу; я, врач, знаю это и ничего не предпринимаю... Боже мой, как все скверно!

23 июля.

Амбулатория у меня полна больными. Выздоровление Черкасова, повидимому, произвело эффект. Зареченцы, как передавала нам кухарка, довольны, что им прислали «настоящего» доктора. С каждым больным я завожу длинный разговор и свожу его к холере, настоятельно советую быть поосторожнее с едою и при малейшем расстройстве желудка обращаться ко мне за помощью.

Холера, повидимому, водворилась в Заречье: было еще три случая заболевания (подтверждено бактериоскопически). Но начинается она мягко и слабо, не справляясь с книжками, по которым именно вначале она должна быть наиболее жестокой: все трое заболёвших уже поправляются. Один из них, сторож грызловского огорода, когда мы явились к нему, сам попросился в барак; это— деревенский парень лет двадцати пяти, звать его Степан Бондарев. Мы ухаживали за ним всю ночь, и теперь он поправляется, хотя еще очень слаб. Разумеется, всем, желавшим проведать его, я давал свободный доступ в барак, что опять-таки сильно смутило фельдшера. Но, благодаря этому, зареченцы увидели, что барак ничуть не страшнее обыкновенной больницы. Когда на следующий день «схватило» жестянщика Андрея Снеткова, то мне не стоило большого труда уговорить его лечь в барак. Острый приступ у него прошел, но поносы продолжаются, он сильно исхудал и глядит апатично и вяло.

Оба они лежат рядом. Степан, стройный парень с низким лбом и светлыми усиками, старается разговорами расшевелить неподвижно-задумчивого Андрея. Когда им приносят обедать, Степан, уплетая сам свой бульон или яйцо всмятку, увещавает соседа:

— Чего не ешь? И так, вон как отощал,—гляди, помрешь! Не хочется есть,—ешь поверх своей силы-мочи... Чудак-человек!

Каждый день к Андрею приходит его брат, низенький человек с редкою бороденкою, с огромным багрово-синим рубцом на щеке. Всхлипывая и утирая рукавом глаза, он сует в руку Андрею гривенник.

— Небось, кисленького хочется тебе; купи огурчиков или чего такого... Эх, Андрюша, Андрюша!

— Чего же ты плачешь?—спрашивает Степан Бондарев, с любопытством и как-то недоверчиво глядя на него.

— Да ведь один у меня брат-то, как же не плакать? Кабы много было... Уж вылечите его, господин доктор! Вы люди ученые!—обращается он ко мне и низко кланяется.

Андрей лежит, подперев голову рукою, и с безучастною улыбкою следит за братом...

Вчера я получил письмо от Наташи. Вот оно:

«Митя! Ты знал, какие ужасы происходят в Заречье, и все-таки отправился туда. Как хорошо, что ты так поступил! Я этому очень рада. Я знаю, что ты поехал туда не шутки шутить, я очень хорошо знаю, чему ты себя подвергаешь, и все-таки я рада. Какая это жизнь, если постоянно заботиться только о своей безопасности! Пусть будет, что будет, но там ты делаешь дело, настоящее дело. В каком настроении ты поехал туда? Что тебя там встретило? Какие твои первые сношения с зареченцами? Как ты себя чувствуешь между ними? Пиши мне, пожалуйста, Митя! Зареченцы эти грубы и дики, как звери, но разве они в этом виноваты? Пиши, пожалуйста; пожалуйста, пиши мне! Ведь нетрудно же тебе написать несколько строк. Буду ждать».

27 июля.

Вчера после обеда в барак привезли нового больного. Фельдшер отправился произвести дезинфекцию в его квартире и взял с собою Федора. Я остался при больном. Это был старик громадного роста и плотный, медник-литух Иван Рыков. Его неудержимо рвало и слабило, судороги то-и-дело схватывали его ноги. Он стонал и метался по постели. Я послал Павла готовить ванну.

— Дайте мне походить!—слабым голосом сказал больной.— Сводит ноги, мочи нет.

Я хотел помочь ему встать. Рыков своим тяжелым телом оперся на меня и, не устояв, снова сел на постель. Он вздохнул и покачал головою.

— Нет, барин, не сдержишь меня один!

Я это и сам видел... Уж и теперь, когда больных было мало, то-и-дело приходилось ощущать недостаток в людях; а прибудь

сейчас в барак хоть двое новых больных,—и мы остались бы совершенно без рук. Я отправился в отделение для выздоравливающих и предложил Степану Бондареву поступить к нам в служители,—он уж поправился и собирался выписываться из больницы. Степан согласился.

Ванна была готова. Я велел посадить в нее стонавшего Рыкова. Судороги прекратились, больной замолк и опустил голову на грудь. Через четверть часа он попросился в постель; его уложили и окутали одеялами.

— О-о, господи-батюшка!—тяжело вздохнул Рыков и прижался головою к краю подушки.

— Ай томно тебе?—с любопытством спросил Степан, словно проверяя на нем пережитые им самим ощущения.

— То-омно!..

— Под сердцем горит?

— Горит, парень, сил нету... Смерть пришла.

Степан уверенно сказал:

— С чего помирать? Не помрешь!

Рыков закрыл глаза и вытянулся. Вскоре его опять стало рвать, потом начались судороги... Степан пощупал под одеялом сведенные икры Рыкова.

— Ишь, словно яблоки!—сказал он про-себя.

— Ох, и где же это ветерок?! Душно мне!—с тоскою проговорил Рыков.—Дайте мне походить.... Помоги, Степа!

Степан и Павел взяли его под-руки и стали водить по комнате. Походив, он снова сел в ванну.

— Воды погорячей!—отрывисто сказал он.

Я велел подлить кипятку.

— Хорошо так?

— Лейте, ради бога!—нетерпеливо произнес Рыков.

Сначала покорный и за все благодарный, он становился все капризнее и требовательнее.

— Нельзя ли ванну подлиннее?—сердито ворчал он, ворочаясь и поджимая ноги.

Вечерело. Рыкову становилось хуже. Приехал священник и исповедал его. Рвота и понос не прекращались; больной на глазах спадался и худел; из-под полузакрытых век тускло светились зрачки, лоб был клейкий и холодный; пульс трудно было нащупать. Меня удивило, как часто Рыков просился в ванну: сидит в ней с полчаса, затем походит по комнате, полежит—и опять в ванну; и все просит воды погорячей. Степан не отходил от него; он изредка переговаривался с Рыковым сиплым, грубоватым голосом, и что-то такое братски-заботливое сквозило в его коротких замечаниях, во всем его обращении.

В час ночи меня сменил выспавшийся тем временем фельдшер. Я сделал нужные распоряжения, сказал, чтоб ванн больному давали, сколько бы он их ни просил, а сам отправился домой.

В пятом часу утра я проснулся, словно меня что толкнуло. Шел мелкий дождь; сквозь окладные тучи слабо брезжил утренний свет. Я оделся и пошел к бараку. Он глянул на меня из сырой дали—намокший, молчаливый. В окнах еще горел свет; у лозинки под большим котлом мигал и дымился потухавший огонь. Я вошел в барак; в нем было тихо и сумрачно; Рыков неподвижно сидел в ванне, низко и бессильно свесив голову; Степан, согнувшись, поддерживал его сзади подмышки.

— Ну, как больной?—спросил я.

Степан поднял на меня бледное, усталое лицо, медленно выпрямился и повел плечами.

— Ничего,—коротко ответил он.—Блюет все, да воды погорячей просит.

За эти несколько часов Рыков изменился неузнаваемо: лицо осунулось и стало синеватым, глаза глубоко ввалились; орбиты зияли в полумраке большими, черными ямами, как в пустом черепе.

— Ну, что, Иван, как?—спросил я.

Рыков чуть повел головою, не поднимая век.

— Говори дюжей, не слышу!—сказал он сиплым, еле слышным голосом.

— Как дела?—громче повторил я.

Больной помолчал.

— Воды погорячей!—пробормотал он и тяжело переворотился в ванне на другой бок. Пульса у него не было.

Я спросил Степана:

— Где же фельдшер?

— Он ушел: его к больному позвали.

— Давно?

— Часа три будет.

— Отчего же он за мною не послал?

— Пожалел: говорит, вы и так мало спали.

Оказывается, вскоре после моего ухода фельдшера позвали к холерному больному; он взял с собою Федора, а при Рыкове оставил Степана и только-что было улегшегося спать Павла. Как я мог догадаться из неохотных ответов Степана, Павел сейчас же по уходе фельдшера снова лег спать, а с больным остался один Степан. Сам еле оправившийся, он *три часа* на весу продержал в ванне обессилевшего Рыкова! Уложит больного в постель, подольет в ванну горячей воды, поправит огонь под котлом и опять сажает Рыкова в ванну.

Я пошел и разбудил Павла. Он вскочил, поспешно оправляясь и откашливаясь.

— Кто это вас, Павел, отпустил спать?

— Я сейчас только... гм... гм... на минуту прилег... Он продолжал откашливаться и избегал моего взгляда.

— Послушайте, не врите вы!—повысил я голос.

— Не сутки же целые мне не спать!—проворчал он, скользнув взглядом в угол.

— Человек умирает, а вы его без помощи бросаете! Вы и двое суток должны не спать, если понадобится.

— Это я не согласен.

— Ну, так вы сегодня же получите расчет.

Лицо Павла сразу приняло независимое и холодное выражение. Он поднял голову и, прищурившись, взглянул мне в глаза.

Я прикусил губу.

— А если вы сейчас не пойдете в барак, вы ни копейки не получите из жалованья.

Павел закашлял и снова забегал взглядом по сторонам.

— С чего же не итти-то?—пробормотал он, обдергивая рукава на пиджаке.—Сейчас иду.

Я воротился в барак. Рыков попрежнему сидел в ванне. Степан пошел подлить воды в котел и передал больного Павлу. Павел, виновато улыбаясь, почтительно взял громадного Рыкова подмышки и стал его поддерживать.

Тяжело и неприятно было на душе: как все неустроено, неорганизовано! Нужно еще отыскать надежных людей, воспитать их, внушить им правильное понимание своих обязанностей; а дело тем временем идет через пень-колоду, положиться не на кого...

Часы шли. Рыков почти не выходил из ванны. Я опасался, чтобы такое продолжительное пребывание в горячей воде не отозвалось на больном неблагоприятно, и несколько раз укладывал его в постель. Но Рыков тотчас же начинал беспокойно метаться и требовал, чтоб его посадили обратно в ванну. Пульс снова появился и постепенно становился все лучше. В одиннадцатом часу больной попросился в постель и заснул; пульс был полный и твердый...

Около четырнадцати часов Рыков, почти не выходя, просидел в ванне,—и я вынес впечатление, что спасла его именно ванна.

29 июля.

Не знаю, испытывают ли это другие: все, что мы делаем, все это бесполезно и ненужно, всем этим мы лишь обманываем себя. Какая, например, польза от нашей дезинфекции? Разве не ясно, что она лишь тогда имеет смысл, когда само население глубоко верит в ее пользу? Если же этого нет, то единственный выход— введение какого-то прямо осадного положения: пусть всюду рыскают всевидящие сыщики, пусть царствует донос, пусть дезинфекция вламывается в подозрительные жилища и ставит все вверх дном, пусть грозный ропот недовольства смолкает при виде штыков и казацких нагаек... Да и таким-то путем много ли достигнешь?

И вот приходится играть комедию, в которую сам не веришь. Обрызгивать сулемою место, где лежал больной, отбирать пару

кафтанов и одеял, которыми он покрывался. Я знаю, нужно бы всех выселить из зараженного дома, забрать все вещи, основательно продезинфицировать отхожее место и все жилище... Да, но куда выселить, во что одеть выселенных? Главное, как заставить их убедиться в пользе того, что для них делаешь? Как дезинфицировать отхожее место, если его нет, и зараза беспрепятственно сеялась по всему двору и под всеми заборами улицы? А между тем видишь, что будь только со стороны жителей желание,—и дело бы шло на лад, и можно бы принести существенную пользу... Тонешь и задыхаешься в массе мелочей, с которыми ты не в состоянии ничего поделать; жаль, что не чувствуешь себя способным сказать: «Э, моя ли в том вина? Я сделал, что мог!»—и спокойно делать, «что можешь». Медленно, медленно подвигается вперед все,—сознание собственной пользы, доверие ко мне; медленно составляется надежный санитарный отряд, на который можно бы положиться.

1 августа.

Эпидемия разгорается. Уж не один заболевший умер. Вчера после обеда меня позвали на дом к слесарю-замочнику Жигалеву. За ним ухаживала вместе с нами его сестра—молодая девушка с большими, прекрасными глазами. К ночи заболела и она сама, а утром оба они уже лежали в гробу. Передо мною, как живое, стоит убитое лицо их старухи-матери. Я сказал ей, что нужно произвести дезинфекцию. Она махнула рукою.

— Да что? Вы вот известку льете, льете, а мы всё мрем... Лейте, что ж!

3 августа.

Весело жить! Работа кипит, все идет гладко, нигде ни зацепки. Мне удалось наконец подобрать отряд желаемого состава, и на этот десяток полуграмотных мастеровых и мужиков я могу положиться, как на самого себя; лучших помощников трудно и желать.

Не говорю уже о Степане Бондареве: глядя на него, я часто дивлюсь, откуда в этом ординарнейшем на вид парне столько мягкой, чисто-женской заботливости и нежности к больным. Но вот, например, Василий Горлов; это мускулистый молодец с светло-

голубыми, разбойничьими глазами; говорят, он бьет свою мать, побоями вогнал в гроб жену. И этот самый Горлов держится со мною, как кроткая овечка, и работает, как вол. Он дезинфектор. С каким апломбом является он в жилище холерного, с каким авторитетным и снисходительным видом объясняет родственникам заболевшего суть заразы и дезинфекции! И его презрение к их невежеству действует на них сильнее, чем все мои убеждения.

Андрей Снетков выздоровел и также служит у нас в санитарах. Для женского отделения у меня есть две служительницы; одна из них—соседка Черкасовых, которая в ту ночь заходила к ним проведать больного.

Всем своим санитарам я говорю «вы» и держусь с ними совершенно, как с равными. Мы нередко сидим вместе на пороге барака, курим и разговариваем; входя в комнату, я здороваюсь с ними первый. И дисциплина от этого нисколько не колеблется, а нравственная связь становится крепче.

Однажды, в минуту откровенности, Василий Горлов заявил мне:

— Ей-богу, Дмитрий Васильевич, я вас так полюбил! Для вас все равно, что благородный, что простой, — вы со всеми равны. С вами говорить не опасно, не то, что другие,—серьезные такие... Конечно, по учению вы... и опять же таки, например, по дворянству... А все-таки я к вам, как к брату родному... Имейте в виду.

Я чувствую, что с каждым днем становлюсь в их глазах все выше. Работать я заставляю всех много и в требованиях своих беспощаден. И все-таки я убежден, что никто из них не откажется из-за этого от службы, как Павел; чем я горжусь всего более, это тем, что их дело стало для них высоким и благородным, им стыдно было бы взглянуть на него с коммерческой точки зрения.

— Дим-митрий Васильевич! — говорит мне Горлов —А позвольте вас спросить: ведь вот начальство за вами не смотрит,— зачем вы так уж себя утомляете?

— Голубчик мой, да разве это для начальства делается? Ну, судите по самому себе: вы вот пришли к заболевшему, все обрызгали, дезинфицировали; без этого, может быть, и другие бы

заболели, а теперь, благодаря вам, останутся живы. Разве вам это не приятно?

И Горлову начинает казаться, что ему это, действительно, чрезвычайно приятно.

В Заречье обо мне говорят с любовью и благодарностью. Когда я вспоминаю чувство, с каким в первое по приезде утро смотрел на расстилавшееся передо мною Заречье, мне смешно становится; я скорее двадцать раз умру от холеры, чем хоть волос на моей голове тронет кто-нибудь из чемеровцев.

Да, весело жить! Весело видеть, как вокруг тебя кипит живое дело, как самого тебя это дело захватывает целиком, весело видеть, что не даром тратятся силы, и сознавать,—я не хочу стесняться,—сознавать, что ты не лишний человек и умеешь работать.

4 августа.

Все это так: обо мне говорят в Заречье с любовью и благодарностью, меня слушаются... Но могу ли я сказать, что мне доверяют? Если мои советы и исполняются, то все-таки исполняющий глубоко убежден в их полной бесполезности. Он делает одолжение мне лично, потому что я «хороший человек», мои же советы и всю мою «господскую» науку он не ставит ни в грош. Я указываю ему на факты, значения которых он не может не понимать,—факты, ясные десятилетнему ребенку; он принужден согласиться со мною; но согласие остается внешним, оно не в силах ни на волос пошатнуть того глубокого, слепого недоверия к нам, которое насквозь проникает душу зареченца.

А скажи ему то же самое прохожая богомолка или отставной солдат,—и он с полною верою станет исполнять все, ими сказанное, он не станет притворяться фаталистом и говорить: «бог не захочет, ничего не будет». Вот про бараки ему давно уже наговорили всевозможных ужасов идущие с Волги рабочие,—и он старательно обходит наш барак за сотню сажен.

6 августа.

Вчера вечером я воротился домой очень усталый. Предыдущую ночь всю напролет пришлось провести в бараке, днем тоже

не удалось отдохнуть: после приема больных нужно было посетить кое-кого на дому, затем наведаться в барак. После обеда позвали на роды. Освободился я только к девяти часам вечера. Поужинал и напился чаю, раздеваюсь, с наслаждением поглядывая на постланную постель,—вдруг звонок: в барак привезли нового, очень трудного больного. Нечего делать, пошел...

Фельдшер с санитарами суетился вокруг койки; на койке лежал плотный мужик лет сорока, с русой бородой и наивным детским лицом. Это был ломовой извозчик, по имени Игнат Ракитский. «Схватило» его на базаре всего три часа назад, но производил он очень плохое впечатление, и пульс уже трудно было нащупать. Работы предстояло много. Не менее меня утомленного фельдшера я послал спать и сказал, что разбужу его на смену в два часа ночи, а сам остался при больном.

Покорный и робкий, Игнат беспрекословно подчинялся всему. Он принял лекарство, дал поставить высокую клизму; не пошевельнулся, когда я впрыскивал ему под кожу камфору; впрочем, он все время был в полубессознательном состоянии.

Я сел на табуретку. В ушах звенело, голова была словно налита свинцом. Игнат лежал на спине, полузакрыв глаза, и быстро, тяжело дышал. Вдруг он вздрогнул и поспешно приподнял голову с подушки. Степан, сидевший у его изголовья, подставил ему горшок для рвоты. Но голова Игната снова бессильно упала на подушку.

— Что же не блюешь? Аль не хочешь блевать? Гм...—Степан вздохнул и опустил горшок.

Игнат зашевелился на постели, стал подниматься на карачки.

— Что же это живот не унимается? Дюже болит живот!—выкрикнул он и снова свалился на бок.

Я подошел к нему.

— Дайте помочи!.. Печет под сердцем...— пробормотал он в промежутке между вздохами, вдруг задрожал, стиснул зубы и стал подтягивать сводимые судорогами ноги. Степан и Андрей схватились за горячие бутылки. Игнат смотрел в потолок мутящимися от боли глазами. Его посадили в ванну.

Степан шепнул мне:



— Сегодня утром шесть арбузов съел натощак, товарищи его сказывали; к обеду еще совсем здоров был, над докторами смеялся.

— Напиться!..—с трудом выкрикнул больной, не поднимая понуренной головы.

Степан осторожно приподнял его голову и стал подносить кружку с ледяной водой. Игнат дернулся всем телом, и рвота широкою струею хлынула в ванну. Его снова перенесли на постель и окутали несколькими одеялами.

Час шел за часом,—медленно, медленно... У меня слипались глаза. Стоило страшного напряжения воли, чтоб держать голову прямо и итти, не волоча ног. Начинало тошнить... Минутами сознание как будто совсем исчезало, все в глазах заволакивалось туманом; только тускло светился огонь лампы, и слышались тяжелые отхаркивания Игната. Я поднимался и начинал ходить по комнате.

Игнат выкрикивал хриплым, неестественным голосом:

— Пузо болит!

«Пузо»... Так только в псевдо-народных рассказах мужики говорят,—подумал я с накипавшим враждебным чувством к Игнату.—Половина второго... Скоро можно будет разбудить фельдшера.

Я снова поставил больному клизму и вышел наружу. В темной дали спало Заречье, нигде не видно было огонька. Тишина была полная, только собаки лаяли, да где-то стучала трещотка ночного сторожа. А над головою бесчисленными звездами сияло чистое, синее небо; Большая Медведица ярко выделялась на западе... В темноте показалась черная фигура.

— Эй, почтенный, где тут доктора найтить? Нельзя ли помочи скорей? Девку схватило, помирает.

«Господи, еще!»—с отчаянием подумал я.

Разбудили фельдшера. Он вышел бледный, широко пяля заспанные глаза.

— Пойдите, пожалуйста, посмотрите, что там такое,—сказал я ему.—Если что серьезное, пришлите за мною...

Фельдшер почтительно возразил:

— Дмитрий Васильевич, да вы идите спать. Я один управлюсь; ведь вы и всю прошлую ночь не спали...

— Э, да идите уж! — нетерпеливо оборвал я его и пошел в барак.

Игнат сидел в ванне. Степан поддерживал его подмышки и грубовато-нежно переговаривался с ним, прикладывал ему лед к голове, давал пить. Игнат беспокойно ворочался в ванне и принимал самые неудобные позы, то-и-дело грозя захлебнуться.

Через минуту он снова попросился в постель. Степан и Андрей взяли его подмышки и приподняли. Он хотел перешагнуть через край ванны, занес было ногу,—она упала назад, и Игнат, с вывернувшимися плечами, мешком повис на руках санитаров. Я взял его за ноги, мы понесли больного на постель. Все время его продолжало непроизвольно слабить; теперь это была какая-то красноватая каша с отвратительным кислым запахом.

— Ишь, арбузы пошли!—кивнул Степан.

Это, действительно, были арбузы; Игнат ел их с зернышками, с зеленью... И сколько он их съел! Лилось, лилось без конца, почти ведрами... Мы уложили его в постель.

Я ходил по комнате и давил в себе неистовую ненависть к Игнату: ведь он знал, что не должно есть арбузов, а все-таки ел, смеясь над докторами... Сам теперь виноват! И как все кругом отвратительно и мерзко, и как тяжело в голове...

Игнату становилось хуже. С серо-синим лицом, с тусклыми, как у мертвеца, глазами, он лежал, ежеминутно делая короткие рвотные движения. Степан подставлял ему горшок, больной отворачивал голову и выплевывал красную рвоту на одеяло. Время от времени Игнат приподнимался, с силою опирался о постель, и, шатаясь, становился накарачки.

Степан осторожно поддерживал его.

— Дядя Игнат! Ляжь, как следовает!

— Пузо дюже болит!—быстрым, шелестящим шопотом произносил больной, и следовал глубокий вздох, подводивший живот далеко под ребра.

Ведь вот на постели может же он подниматься, как хочет; а из ванны вынимать,—висит мешком, ноги поднять не хочет. И зачем он плюет на одеяло, когда ему подставляют горшок?

Светало. В бараке было тихо, и только слышно было, как порывисто дышал Игнат. Лицо его стало серо-свинцового цвета, сухие губы чернели под редкими усами. Иногда он быстро приподнимал голову с подушки, и вдруг устремлял на меня блеснувшие глаза,— большие, грозные и испуганные... Пульса у него давно уже не было.

Мне вдруг показалось, что кровать с Игнатом взвилась под потолок, окна комнаты завертелись. Я схватился за стол, чтоб не упасть. Еще раз сделав над собою усилие, я впрыснул больному камфору и вышел наружу.

Туман клубами поднимался с соседнего болота, было сыро и холодно. Я присел на лавку и закурил папиросу. На сердце было одно чувство,—тупое, бесконечное отвращение и к этому больному, и ко всей окружающей мерзости, рвоте, грязи. Все вздор,—вся эта деятельность для других, все...Одно хорошо: прийти домой, выпить стакан горячего чаю с коньяком, лечь в чистую, уютную постель и сладко заснуть... «И почему я не делаю этого?—со злостью подумал я.—Ведь я врач, а исполняю роль сестры милосердия. Моя ли вина, что я не могу добиться от управы помощника врача или студента, что я все один и один? Буду утром и вечером посещать барак,— чего еще можно от меня требовать? Так все и делают. У врача голова должна быть свежа, а у меня...» Я стал высчитывать, сколько времени я не спал: сорок четыре часа, почти двое суток.

У околицы залаяли собаки. Я с надеждою стал вглядываться в туман: может быть, фельдшер идет. Нет, прошла баба какая-то... Вдали поют петухи, из барака доносятся глухие отхаркивания Игната. Я заметил, что сижу как-то особенно грузно, и что голова совсем уже лежит на плече. Я встал и снова вошел в барак.

Игнат неподвижно лежал на спине, закинув голову. Между черными, запекшимися губами белели зубы. Тусклые глаза, не моргая, смотрели из глубоких впадин. Иногда рвотные движения дергали его грудь, но Игнат уже не выплевывал... Он начинал дышать все слабее и короче. Вдруг зашевелил ногами, горло несколько раз поднялось под самый подбородок, Игнат вытянулся и замер; по его лицу быстро пробежала неуловимая тень... Он умер.

Я стоял, прикусив губу, и неподвижно смотрел на Игната. Лицо его с светлс-русою бородою стало еще наивнее. Как будто маленький ребенок увидал неслыханое диво, ахнул, да так и застыл с разинутым ртом и широко раскрытыми глазами. Я велел дезинфицировать труп и перенести в мертвецкую, а сам побрел домой.

И вот прошло всего каких-нибудь полсуток. Я выспался и встал бодрый, свежий. Меня позвали на дом к новому больному. Какую я чувствовал любовь к нему, как мне хотелось его отстоять! Ничего не было противно. Я ухаживал за ним, и мягкое, любовное чувство овладевало мною. И я думал об этой возмутительной и смешной зависимости «нетленного духа» от тела: тело бодро,—и дух твой совсем изменился; ты любишь, готов всего себя отдать...

14 августа.

Я уже давно не писал здесь ничего. Не до того теперь. Чуть свободная минута, думаешь об одном: лечь спать, чтоб хоть немного отдохнуть. Холера гуляет по Чемеровке и валит по десяти человек в день. Боже мой, как я устал! Голова болит, желудок расстроен, все члены, словно деревянные. Ходишь и работаешь, как машина. Спать приходится часа по три в сутки, и сон какой-то беспокойный, болезненный; встаешь таким же разбитым, как лег.

Кругом десятками умирают люди, смерть самому тебе заглядывает в лицо,—и ко всему этому относишься совершенно равнодушно: чего они боятся умирать? Ведь это такие пустяки и вовсе не страшно.

18 августа.

Буду рассказывать по порядку.

Это произошло на Успение. Пообедав, я отпустил Авдотью со двора, а сам лег спать. Спал я крепко и долго. В передней вдруг раздался сильный звонок; я слышал его, но мне не хотелось просыпаться: в постели было тепло и уютно, мне вспоминалось далекое детство, когда мы с братом спали рядом в маленьких кроватках... Сердце сладко сжималось, к глазам подступали слезы. И вот нужно

просыпаться, нужно опять итти туда, где кругом тебя только муки и стоны...

Колокольчик зазвенел сильнее и окончательно разбудил меня. Я встал и пошел отпереть. В окно прихожей видно было, что звонится Степан Бондырев. Он был без шапки, и лицо его глядело странно.

Я отпер дверь. Степан медленно шагнул в прихожую, слабо пошатнувшись на пороге.

— Дмитрий Васильевич, к вам!

Он коротко и глухо всхлипнул. Лицо его было в кровоподтеках, глаза красны, рубаха разодрана и залита кровью.

— Степан, что с вами?!

— К вам вот пришел. Ребята убить грозятся; ты, говорят, холерный... Мол, товарищей своих продал... с докторами связался...

Он опять глухо всхлипнул и отер рукавом кровь с губы.

— Да в чем дело? Какие ребята? Войдите, Степан, успокойтесь!

Я ввел его в комнату, усадил, дал напиться. Степан машинально сел, машинально выпил воду. Он ничего не замечал вокруг, весь замерши в горьком, недоумевающем испуге.

— Ну, рассказывайте, что такое случилось с вами.

Неподвижно глядя, Степан медленно заговорил:

— Говорят: холерный, мол, ты!.. Это зашел я сейчас в харчевню к Расторгуеву, спросил стаканчик. Народу много, пьяные все...— «А, говорят, вон он холерный пришел!» Я молчу, выпил стаканчик свой, закусываю... Подходит Ванька Ермолаев, токарь по металлу:—«А что, почтенный, нельзя ли, говорит, ваших докторей-фершалов пообеспокоить?»—На что они, говорю, тебе?—«А на то, чтоб их не было. Нельзя ли?»—Что ж, говорю, пускай доктор рассудит, это не мое дело.—«Мы, говорит, твоего доктора сейчас бить идем, вот для куражу выпиваем».—За что?—«А такая уж теперь мода вышла,—докторей-фершалов бить».—Что ж, говорю, в чем сила? Сила большая ваша... Как знаете...

Я дрожал крупною, частою дрожью. Мне досадно было на эту дрожь, но подавить ее я не мог. И я сам не знал, от волнения ли она или от холода: я был в одной рубашке, без пиджака и жилета.

— Как холодно!—сказал я и накинул пальто.

Степан, не понимая, взглянул на меня.

— «Ишь, говорят, тоже фершал выискался!—продолжал он.— Иди, иди, говорят, а то мы тебя замуздаем по рылу!»—Что ж, говорю, я пойду! Повернулся,—вдруг меня кто-то сзади по шее. Бросились на меня, зачали бить... Я вырвался, ударился бежать. Добежал до Серебрянки; остановился: куда итти? Никого у меня нету... Я пошел и заплакал. Думаю: пойду к доктору. Скучно мне стало, скучно: за что?..

Он замолчал, глухо и прерывисто всхлипывая. У меня самого рыдания подступили к горлу. Да, *за что?*

Ясный августовский вечер смотрел в окно, солнце красными лучами скользило по обоям. Степан сидел, понурив голову, с вздрагивавшею от рыданий грудью. Узор его закапанной кровью рубашки был мне так знаком! Серая истасканная штанина поднялась, из-под нее выглядывала голая нога в стоптанном штиблете... Я вспомнил, как две недели назад этот самый Степан, весь забрызганный холерною рвотою, три часа подряд на весу продержал в ванне умиравшего больного. А *те* боялись даже пройти мимо барака...

И вот теперь, отвергнутый, избитый ими, он шел за защитою ко мне: я сделал его нашим «сообщником», из-за меня он стал чужд своим.

Степан заговорил снова:

— «Завелись, говорят, доктора у нас, так и холера пошла». Я говорю: вы подумайте в своей башке, дайте развитие,—за что? Ведь у нас вон сколько народу выздоравливает; иной уж в гроб глядит, и то мы его отходим. Разве мы что делали, разве с нами какой вышел конфуз?..

В комнату неслышно вошел высокий парень в пиджаке и красной рубашке, в новых, блестящих сапогах. Он остановился у порога и медленно оглядел Степана. Я побледнел.

— Что вам нужно?

Он еще раз окинул взглядом Степана, не отвечая, повернулся и вышел. Я тогда забыл запереть дверь, и он вошел не замеченным.

Я закинул крючок на наружную дверь и воротился в комнату. Сердце билось медленно и так сильно, что я слышал его стук в груди. Задыхаясь, я спросил:

— Что это, из *тех* кто-нибудь?

— Ванька Ермолаев и есть. Сейчас все здесь будут.

Что было делать? Бежать? Но одна мысль о таком унижении бросала меня в краску: выскочить в окно, подобно вору, пробираться задами... Да и куда было бежать?

Я молча ходил по комнате. Ноги ступали нетвердо, по спине непрерывно бегала мелкая, быстрая дрожь. Мне вдруг во всех подробностях вспомнилась смерть доктора Молчанова, недавно убитого толпою в Хвалынске... Беспричинность и неожиданность случившегося не удивляли меня теперь: мне казалось, в глубине души я давно уже ждал чего-то подобного... На сердце было страшно тоскливо. Но рядом с этим гордо-уверенное, радостное чувство поднималось во мне: я не знал еще, что буду делать, но я знал, что заслоню и защищу Степана.

Случайно я увидел в зеркале свое отражение: бледное, искаженное страхом лицо глянуло на меня холодно и странно, как чужое. Мне стало стыдно Степана и досадно, что он видит меня в таком состоянии... Ну, да теперь уж все равно....

Я остановился у окна. Над садом в дымчато-голубой дали блестели кресты городских церквей; солнце садилось, небо было синее, глубокое... Как там спокойно и тихо!.. И опять эта неприятная дрожь побежала по спине. Я повел плечами, засунул руки в карманы и снова начал ходить.

В наружную дверь раздался сильный удар, в то же время оглушительно зазвенел звонок—раз, другой, и звонок оборвался.

— Они!—апатично сказал Степан.

В дверь посыпались удары.

Со мною произошло то, что всегда бывало, когда я шел на что-нибудь страшное: во мне вдруг все словно замерло, и я сделался спокоен. Но что-то странное в этом спокойствии: как будто другой кто уверенно и находчиво действует во мне, а сам я со страхом слежу со стороны за этим другим.

— Оставайтесь здесь,—сказал я Степану, вышел в прихожую и запер комнату на ключ. Ключ я положил себе в карман.

Наружная дверь трещала от ударов, за нею слышен был гул большой толпы. Я скинул крючок и вышел на крыльцо.

Как взрыв, раздался злобно-радостный рев. Я быстро спустился с крыльца и вошел в середину толпы.

— Что это, господа, чего вы?

— Фершала давай своего!

Серьезно и озабоченно я спросил:

— Фельдшера? Зачем он вам?

Маленький, худощавый старик с красными глазами, торопливо засучивая рукава, протискивался ко мне сквозь толпу.

— Зачем?.. Зачем?..—бессмысленно повторял он и рвался ко мне, наталкиваясь на плечи и спины.

Я шагнул навстречу.

— Ну, вот, он мне об'яснит, погодите кричать... Пропустите же его, дайте дорогу!.. Вот... Ну, в чем дело?—коротко и решительно обратился я к старику.

Мы очутились друг против друга. Старик опешил и неподвижно смотрел на меня.

— Что такое случилось?

Он быстро и оторопело пробормотал:

— Вы чего народ морите?

Я удивленно поднял голову.

— Что такое? Мы—народ морим?! Откуда это ты, старик, выдумал? Народу у меня в больнице лежало много,—что же, из них кто-нибудь это сказал тебе?.. Не может быть! Спросить многих можно,—мало ли у нас выздоровело! Рыков Иван, Артюшин, Кепанов, Филиппов... Все у меня в больнице лежали. Ты от них это слышал, это они говорили тебе?—настойчиво спросил я.

Старик странно морщился и дергал головою.

— Мы, господин, знаем... Мы все-е знаем!..

— Ну, нет, брат, погоди! Дело тут серьезное. Если знаешь, то толком и говори. Где мы народ морили, когда?.. Господа, может быть, из вас кто-нибудь это скажет?—обратился я к окружающим.

Никто не ответил. Отовсюду смотрели чуждые, враждебно выжидающие глаза. Сзади вытягивались головы с нетерпеливо хмурившимися лицами. Ванька Ермолаев, закусив губу, с насмешливым любопытством следил за мною.

— Ну, хорошо, вот что!—решительно произнес я.—Пойдемте сейчас все вместе в барак, спросим тех, кто там лежит, что они скажут: делаем мы им какое худо или нет. Если что скажут против меня,—я в ответе.

— Да пойдем, чего там! Думаешь, боимся байрака твоего?—быстро сказал Ванька Ермолаев и двинулся с места.

— Пойдемте!

Толпа колыхнулась, и мы направились к бараку.

Я закурил папиросу и заговорил:

— Ведь, вот, господа, пришли вы сюда, шумите... А из-за чего? Вы говорите, народ помирает. Ну, а рассудите сами, кто в в этом виноват. Говорил я вам сколько раз: поосторожнее будьте с зеленью, не пейте сырой воды. Ведь кругом ходит зараза. Разорение вам какое, что ли, воду прокипятить? А поди ты вот, не хотите. А как схватит человека,—доктора виноваты. Вот у меня недавно один умер: шесть арбузов натощак с'ел! Ну, скажите, кто тут виноват? Или вот с водкой: говорил я вам, не пейте водки, от нее слабеет желудок...

— Нет, господин, вино не вредит!—вмешался шедший рядом мастеровой.—Она эту самую заразу убивает, она в пользу.

— В пользу? А вот приходите-ка в больницу после праздника: как настанет праздник, выпьет народ, так на другой день сразу вдвое больше больных; и эти всего легче помирают: вечером принесут его, а утром он уж богу душу отдает.

— И похмелиться не поспевши, го-го!—засмеялись в толпе.

— Чего смеетесь? Дурье!—строго остановил Ванька Ермолаев.

Вдали виднелся барак. Чтоб не беспокоить больных, я решил взять с собою только двух-трех человек, а остальных оставить ждать у барака.

Вдруг из-за угла мелочной лавки показался приземистый фабричный в длинной синей чуйке. Он, видимо, искал нас и, зави-

дев толпу, побежал навстречу. Я живо помню его бледное лицо с низким лбом и огромною нижнею челюстью... Все произошло так быстро, как-будто сверкнула молния. Толпа раздалась. Человек в чуйке молча скользнула по мне взглядом и вдруг, коротко и страшно сильно размахнувшись, ударил меня кулаком в лицо. У меня замутилось в глазах, я отшатнулся и схватился за голову. В ту же минуту второй удар обрушился мне на шею.

— Го-о... Бе-ей!!—неистово завопил говоривший со мною старик и ринулся на меня, и все кругом всколыхнулось.

От толчка в спину я пробежал несколько шагов; падая, ударился лицом о чье-то колено; это колено с силою отшвырнуло меня в сторону. Помню, как, вскочив на ноги и в безумном ужасе цепляясь за чей-то рвавшийся от меня рукав, я кричал: «Братцы!.. голубчики!..». Помню пьяный рев толпы, помню мелькавшие передо мною красные, потные лица, сжатые кулаки... Вдруг тупой, тяжелый удар в грудь захватил мне дыхание, и, давясь хлынувшею из груди кровью, я без сознания упал на землю.

19 августа.

Я уж третий день лежу в больнице. У меня открылось сильное кровохарканье, которое еле остановили; дело плохо. Меня два раза навестил губернатор, навестили еще какие-то важные лица. Все они говорят мне что-то очень любезное, крепко жмут руку. Я смотрю на них, но мало понимаю из того, что они говорят. Гвоздем сидит у меня в голове воспоминание о случившемся, и сердце ноет нестерпимо. И я все спрашиваю себя: да неужели же вправду это было?.. И однако, это так: я лежу в больнице, изувеченный и умирающий; передо мною, как живые, стоят перекошенные злобой лица, мне слышится крик «бей его!..». И они меня *били*, *били*! Били за то, что я пришел к ним на помощь, что я нес им свои силы, свои знания,—все... Господи, господи! Что же это,—сон ли тяжелый, невероятный, или голая правда?.. Не стыдно признаваться,—я и в эту минуту, когда пишу, плачу, как мальчик. Да, теперь только вижу я, как любил я народ, и как мучительно горька обида от него.

Нужно умирать. Не смерть страшна мне: жизнь холодная и тусклая, полная бесплодных угрызений,—бог с нею! Я об ней не жалею. Но *так* умирать!.. За что ты боролся, во имя чего умер? Чего ты достиг своею смертью? Ты только *жертва*, жертва бессмысленная, никому ненужная... И напрасно все твое существо протестует против обидной ненужности этой жертвы: так и должно было быть...

20 августа.

Мне не спится по ночам. Вытягивающая повязка на ноге мешает шевельнуться, воспоминание опять и опять рисует недавнюю картину. За стеною, в общей палате, слышен чей-то глухой кашель, из рукомойника звонко и мерно капает вода в таз. Я лежу на спине, смотрю, как по потолку ходят тени от мерцающего ночника,—и хочется горько плакать. Были силы, была любовь. А жизнь прошла даром, и смерть приближается,—такая же бессмысленная и бесплодная... Да, но какое я *право* имел ждать лучшей и более славной смерти?

Они били меня, как забежавшую бешеную собаку,—меня, против которого ничего не могли иметь. Пять недель работая среди них, каждым шагом доказывая свою готовность помогать и служить им, я не смог добиться с их стороны простого доверия; я *принуждал* их верить себе, но довольно было рюмки водки, чтоб все исчезло, и проснулось обычное стихийное чувство. Пять недель! Я в пять недель думал уничтожить то, что создавалось долгими годами. С каких это пор привыкли они встречать в нас друзей, когда видели они себе пользу от наших знаний, от всего, что ставило нас выше их? Мы всегда были им чужды и далеки, их *ничего* не связывало с нами. Для них мы были людьми другого мира, брезгливо сторонящимися от них и не хотящими их знать. И разве это неправда? Разве иначе была бы возможна та до ужаса глубокая пропасть, которая отделяет нас от них?

Я знаю: то, что я здесь пишу, избито и старо; мне бы самому в другое время показалось это фальшивым и фразистым. Но почему теперь в этих избитых фразах чувствуется мне столько

тяжелой правды, почему так жалко-ничтожною кажется мне моя прошлая жизнь, моя деятельность и любовь? Я перечитывал дневник: жалобы на себя, на время, на все... Этим жалобам не было бы места, если бы я тогда видел и чувствовал то, что так ярко и так больно бьет мне теперь в глаза...

23 августа.

Трудно писать, рука плохо слушается. Процесс в легких идет быстро, и жить остается немного. Я не знаю, почему теперь, когда все кончено, у меня так светло и радостно на душе. Часто слезы безграничного счастья подступают к горлу, и мне хочется сладко, вольно плакать.

Я часто впадаю в забытье. И когда я открываю глаза, я вижу сидящую у моих ног молчаливую, понурую фигуру Степана. Как он сюда попал? Я вскоре узнал: он пришел к главному врачу больницы, поклонился ему в ноги и не вставал с колен, пока тот не позволил ему оставаться при мне безотлучно. Я не знаю, когда он спит: днем ли проснешься, ночью,—Степан все сидит на своей табуретке,—молчаливый, неподвижный... Я смотрю на этого дважды спасенного мною человека, и мне хочется крепко пожать его руку. Я пошевельнусь,—он встает и поправляет сбившуюся подо мною подушку, дает мне пить. И я опять забываюсь...

Передо мною стоит Наташа. Она горько плачет, закрыв глаза рукою. Мне странно,—неужели Наташа тоже умеет плакать? Я тихо глажу ее трепещущую от рыданий руку и не могу оторвать от нее глаз. И я говорю ей, чтоб она любила людей, любила народ; что не нужно отчаиваться, нужно много и упорно работать, нужно искать дорогу, потому что работы страшно много... И теперь мне не стыдно говорить эти «высокие» слова. Она жадно слушает и не замечает, как слезы льются по ее лицу. А я смотрю на нее, и тихая радость овладевает мною; и я думаю о том, какая она славная девушка, и как много в жизни хорошего, и... и как хорошо умирать...

1894



ПОВЕТРИЕ

ЭПИЛОГ [1])

I

Богучаровский земский врач Сергей Андреевич Троицкий только что произвел горлосечение задыхавшейся от крупа девочке. Он накладывал швы на разрез раны, фельдшерица Ольга Петровна, с сухим, желтоватым лицом, в белом фартуке, придерживала вставленную в трахею трубочку.

Больная еще не проснулась от хлороформа; она лежала неподвижно, изредка делая глубокие, свободные вдыхания; только когда Ольга Петровна шевелила трубочку, ребенок начинал кашлять, и тогда из отверстия трубочки с дующим шумом вылетали брызги кровавой слизи, а Сергей Андреевич и Ольга Петровна отшатывались в стороны.

---

[1]) Рассказ этот в свое время вызвал со стороны критики немало нареканий за то, что лишен действия и состоит из одних разговоров. Нарекания были вполне законны. Но показать представителей молодого поколения в действии было по тогдашним цензурным условиям совершенно немыслимо. Даже в предлагаемом виде рассказ мог появиться в свет только после долгих мытарств.—Время действия относится к лету 1896 г., когда в Петербурге вспыхнула знаменитая июньская стачка ткачей, отметившая собою нарождение у нас организованного рабочего движения.

Авт.

Ольга Петровна зажмурила левый глаз, ощупала мизинцем щеку, на которой повисли две алых капельки, и сказала:

— Чуть-чуть мне сейчас в глаз не попало!

— Эка штука!—с шутливым пренебрежением ответил Сергей Андреевич.

Ольга Петровна обиженно протянула:

— Да-а!.. Я вовсе не хочу ослепнуть.

— С чего вам, Ольга Петровна, слепнуть? Мы с вами люди привычные: нас никакая зараза не смеет тронуть.

Ольга Петровна, скрывая улыбку, отвернулась, чтоб достать баночку с иодоформом; она дивилась, что такое сталось с Сергеем Андреевичем: всегда сумрачный и молчаливый, он сегодня все время шутил и болтал без умолку.

Больная медленно раскрыла большие, отуманенные глаза.

— Ну, Дунька, как дела?—спросил Сергей Андреевич, наклонился и ласково потрепал ее по пухлой, загорелой щеке.

Девочка вздохнула и, отвернув голову, молча закрыла глаза. Сиделка взяла ее на руки и понесла из операционной. Сергей Андреевич тщательно вымыл сулемою лицо и руки, простился с Ольгой Петровной и пошел из больницы домой.

Через дорогу, за канавою, засаженною лозинами, желтела зреющая рожь. Горизонт над рожью был свинцового цвета, серые тучи сплошь покрывали небо. Но тучи эти не грозили дождем, и от них только чувствовалось уютнее и ближе к земле. С востока слабо дул прохладный, бодрящий ветер.

Сергей Андреевич шел по дороге вдоль заросшей канавы, растирал ладонями цветки полыни и с счастливым, жизнерадостным чувством дышал навстречу ветру.

Сегодня у Сергея Андреевича был большой праздник: ему предстояло провести вечер с двумя гостями, каких он редко видел в своей глуши. Мысль об этих гостях рассеяла в Сергее Андреевиче обычные его заботы и горести, он чувствовал себя бодро, молодо и радостно.

Один из гостей уже со вчерашнего вечера находился у Сергея Андреевича и теперь ожидал его дома. Гость этот был его старый университетский товарищ Киселев, знаменитый организатор

артелей. О нем в последнее время много писали в газетах. С нижегородской выставки, где он экспонировал изделия своих кустарей, Киселев по дороге заехал на сутки к Сергею Андреевичу и сегодня вечером уезжал. Сергей Андреевич проговорил с ним до поздней ночи и все утро после амбулаторного приема; он не мог наслушаться Киселева, не мог наговориться с ним; глядя на этого человека, всю свою жизнь положившего на общее дело, Сергей Андреевич преисполнялся горделивою радостью за свое поколение, которое дало жизни таких деятелей.

Другой гость, которого сегодня ждал Сергей Андреевич, была дочь соседнего помещика, Наталья Александровна Чеканова. Сергей Андреевич не видел ее четыре года. В то время Наташа только что кончила в гимназии и готовилась к аттестату зрелости для поступления на медицинские курсы; это была девушка сорви-голова, с бродившими в душе смутными, широкими запросами, вся—порыв, вся—беспокойное искание. Осенью, против воли отца, она неожиданно уехала в Швейцарию и с тех пор как в воду канула; дошли слухи, что через два года она переехала в Петербург. Отец надеялся, что без денег Наташа долго не выдержит и сама воротится домой, но наконец потерял надежду; этою весною он написал ей в Петербург и приглашал приехать на лето в деревню. Наташа ответила, что очень занята, и что навряд ли ей удастся скоро приехать. Тем не менее, в начале июля она совершенно неожиданно явилась домой, не успев даже предупредить о приезде. По пути со станции она заехала к Сергею Андреевичу. Когда он увидел Наташу, у него сжалось сердце от жалости; видимо, за эти четыре года ей пришлось пережить немало: она сильно похудела и побледнела, выглядела нервной; но зато от нее так и повеяло на Сергея Андреевича бодростью, энергией и счастьем. Он с горячим интересом слушал торопливые, оживленные рассказы Наташи, наблюдал ее и думал: «она нашла дорогу и верит в жизнь». Наташа пробыла у него не долее получаса, и Сергей Андреевич не успел поговорить с нею, как следует. Вчера он известил ее о пребывании у него Киселева, и Наташа обещала приехать.

«Что-то стало из нее?» — с любопытством думал Сергей Андреевич, потирая руки.

И он улыбался при мысли о сегодняшнем вечере и радовался случаю освежиться и встряхнуться, вздохнуть чистым воздухом того мира, где не личные заботы и печали томят людей.

Сергей Андреевич подошел к стоявшему против церкви ветхому домику. Из-под обросшей мохом тесовой крыши, словно исподлобья, смотрели на церковь пять маленьких окон. Вокруг дома теснились старые березы. У церковной ограды сын Сергея Андреевича, гимназист Володя, играл в городки с деревенскими ребятами.

Вдоль боковой стены дома тянулась широкая, потемневшая от дождей терраса с покосившимися столбиками и подгнившими перилами. На террасе блестел самовар. Дочь Сергея Андреевича, Люба, разливала чай. За столом сидели Киселев и сын богучаровского дьячка, студент-технолог Даев.

II

Когда Сергей Андреевич взошел на террасу, между Киселевым и Даевым кипел ярый спор, и на него почти не обратили внимания.

— Ну-ка, Любушка, плесни-ка и мне чайку! — обратился Сергей Андреевич к дочери.

Он взял налитый стакан чаю, положил в него лимон и со стаканом в руках подсел к спорившим.

Киселев был плотный и приземистый человек лес за сорок, с широким лицом и окладистою русою бородою; из-под высокого и очень крутого лба внимательно смотрели маленькие глазки, в которых была странная смесь наивности и хитрой практической сметки. Всем своим видом Киселев сильно напоминал ярославца-целовальника, но только практическую сметку свою он употреблял не на «об'егоривание» и спаиванье мужиков, а на дело широкой помощи им.

Взволнованно барабаня толстыми пальцами по скатерти, Киселев внимательно слушал студента.

— Что спорить? Сама по себе артель, разумеется, дело хорошее,—говорил Даев, стройный парень с черною бородкою и презрительно-надменною складкою меж тонких бровей.—Я не сомневаюсь, что этим путем вам удастся поднять на некоторое время благосостояние нескольких десятков кустарей. Но все силы, всю свою душу положить на такое безнадежное дело, как поддержка кустарной промышленности,—по-моему, пустая трата сил и времени.

— Почему же это кустарная промышленность—такое безнадежное дело?—спросил Киселев.

— Потому что существует более совершенная форма производства, с которою не нашему кустарю бороться. Вы посмотрите, он уже по всей линии отступает перед фабрикою, и вовсе не по каким-нибудь случайным причинам; машина с неотвратимою последовательностью вырывает из его рук один инструмент за другим, и если кустарь покамест хоть кое-как еще конкурирует с нею, то только благодаря своей пресловутой «связи с землей», которая позволяет ему ценить свой труд в грош.

— Так что, значит, и пускай себе машина вырывает у него «один инструмент за другим», пускай себе развивается фабрика? Так с этим и нужно примириться?—спросил Киселев, юмористически подняв брови.

— Миритесь, не миритесь, а фабрика, все равно, задавит кустаря.

— Возмутительно!—Киселев ударил кулаком по столу.—Для вас это—теория, а для меня это трупом пахнет!

— Полноте, какая тут теория! Нужно быть слепым, чтоб не видеть умирания кустарничества, и,—вы меня извините,—нужно не знать азбуки политической экономии, чтоб думать, что артель способна его оживить.

Сергей Андреевич, наклонившись над стаканом и помешивая ложечкою чай, угрюмо и недоброжелательно слушал Даева. То, что он говорил, не было для Сергея Андреевича новостью: и раньше он уже не раз слышал от Даева подобные взгляды, и по журнальной полемике был знаком с этим недавно народившимся у нас безобразным, доктринерским учением, приветствующим

развитие в России капитализма и на место живой, деятельной личности кладущим в основу истории слепую экономическую необходимость.

Слушая теперь Даева, Сергей Андреевич начинал раздражаться все сильнее. Но ему хотелось удержать свое тихое и радостное настроение, и он постарался прекратить спор.

— Эх, Иван Иванович, ну, что ты с ним связываешься?—обратился он к Киселеву, обняв его за плечи, и шутливо махнул рукою в сторону Даева.—Эти новые люди—народ отпетый, с ними, брат, не столкуешься. Нам их с тобою и не понять,—всех этих декадентов, символистов, марксистов, велосипедистов... Ну, а вот она, наконец, и Наталья Александровна.

Сергей Андреевич встал и шумно отодвинул стул.

III

К калитке, верхом на буланой лошади, под'ехала девушка в соломенной шляпке и розовой кофточке, перехваченной на талии широким кожаным поясом. Она соскочила на землю и стала привязывать лошадь к плетню.

Сергей Андреевич радостно пошел навстречу.

— Наталья Александровна!.. Наконец-то!.. Здравствуйте!

Наташа с быстрою, немного сконфуженною усмешкою ответила на его пожатие и взошла на террасу. От кофточки падал розовый отблеск на бледное лицо, и от этого Наташа казалась свежее и здоровее, чем тогда, когда Сергей Андреевич видел ее в первый раз. Она поцеловалась с Любой, Сергей Андреевич представил ей Киселева и Даева.

— Какая вы уж большая стали!—сказала Наташа, с улыбкою оглядывая Любу.—Вы в каком теперь классе?

— Перешла в восьмой,—краснея, ответила Люба и стала наливать ей чай.

На минуту все замолчали.

— Ну, вот, Наталья Александровна, опять вы в наших краях,—заговорил Сергей Андреевич, с отеческою любовью глядя

на нее.—А нам тут Иван Иванович рассказывал об организованных им артелях; я вам вчера писал о нем.

— Вы давно уже ведете это дело?—спросила Наташа, украдкою приглядываясь к Киселеву.

— Четыре года веду,—неохотно ответил Киселев, еще полный впечатлений от разговора с Даевым.

Наташа нерешительно сказала:

— Вам, вероятно, уж надоело рассказывать?

— Да рассказывать-то нечего... Вот, если хотите, посмотрите наш артельный устав, там все сказано.

Он достал из бумажника сложенный вчетверо лист бумаги и передал Наташе. Наташа быстро развернула лист и с любопытством стала читать.

— Здесь сказано, что члены артели должны жить между собою «по божьей правде». А как поступает артель с членом, если он перестанет жить по правде?—спросила она.

— Разно бывает. Чаще всего урезонишь его,—мужик и одумается, сам поймет, что не дело затеял. Ну, случается, конечно, что иного ничем не проймешь,—такого приходится исключить: шелудивая овца все стадо портит.

Наташа стала расспрашивать, как часты у них вообще случаи исключения участников, на каких условиях принимаются новые члены, насколько сильна в артелях самодеятельность. Киселев мало-по-малу оживился и начал рассказывать. Он рассказывал долго и подробно.

Сергей Андреевич слушал с наслаждением. Ему уж было известно все, что рассказывал Киселев, но он был готов слушать еще и еще без конца. На душе у него опять стало тихо, хорошо и радостно. Вечерело, небо попрежнему было покрыто тучами; на западе, над прудом, тянулись золотистые облака фантастических очертаний. Теплый ветер слабо шумел в березах.

— Да, господа, это дело—живое и плодотворное дело,—закончил Киселев.—Оно доставляет столько нравственного удовлетворения, дает такие осязательные результаты, так много обещает в будущем, что я всякому скажу: если хотите хорошего счастья,

если хотите с пользою употребить свои силы, то идите к нам, и вы не раскаетесь... хотя вот г. Даев и не согласен с этим.

Наташа быстро и внимательно взглянула на Даева.

— Я с этим также несогласна,—сказала она, опустив глаза.

Сергей Андреевич насторожился.

— Почему?

— Это дело хорошее, но мне не верится, чтоб оно много обещало в будущем. Из рассказов самого же Ивана Ивановича видно, что все держится только его личным влиянием: устранись Иван Иванович,—и его артели немедленно распадутся, как было уже столько раз.

— Почему же бы это им непременно распасться?—спросил Киселев.

— Потому что вы слишком много требуете от человека. Ваши артельщики должны жить «по божьей правде»; конечно, на почве мелкого производства единение только при таком условии и возможно; но ведь это значит совершенно не считаться с природою человека: «по божьей правде» способны жить подвижники, а не обыкновенные люди.

— Вот как!—протянул Сергей Андреевич и широко раскрыл глаза. — «При мелком производстве единение невозможно». Наталья Александровна, да уж не собираетесь ли и вы по этому случаю выварить нашего кустаря в фабричном котле?

— Ни у меня, ни у кого нет столько сил, чтобы сделать это,— с усмешкой ответила Наташа.—А что исторический ход вещей его выварит,—в этом, разумеется, не может быть сомнения.

— Опять этот «исторический ход вещей»!—воскликнул Киселев.—Господа, да постыдитесь же хоть немного! Вы почтительно преклоняетесь перед всякою мерзостью, которую готов сделать ваш «исторический ход вещей». Если он обещает расплодить у нас фабрики, задавить кустаря, то и пускай будет так, пускай кустарь погибает?

Вмешался Даев.

— Сейчас, Иван Иванович, вопрос не о мерзостях, которые проделывает исторический ход вещей. Вопрос о том,—что можете

вы дать вашим кустарям? В лучшем случае вам удастся поставить на ноги два-три десятка бедняков, и ничего больше. Это будет очень хорошим, добрым делом. Но какое же это может иметь серьезное общественное значение?

Сергей Андреевич почти с ненавистью слушал Даева. Даев говорил пренебрежительно-учительским тоном, словно и не надеясь на понятливость Киселева, и Сергею Андреевичу было досадно, что тот совершенно не замечает ни тона Даева, ни его резкостей.

Киселев глубоко вздохнул и поднялся с места.

— Я вижу только одно, господа,—сказал он:—вы не любите человека и не верите в него. Ну, скажите, неужели же вправду так-таки невозможно понять, что дружная работа выгоднее работы врозь, что лучше быть братьями, чем врагами? Вы злорадно указываете на неудачи... Что ж? Да, они есть! Но вы знаете ли, в каких условиях приходится жить мужику? Могут ли широко развиться при них те задатки любви и отзывчивости, которые заложены в его душе? А задатки в нем заложены богатые, смею вас уверить! Вы смеетесь над этим. Но меня вот что удивляет: вы молоды, жизни не знаете, знакомы с нею только из книг,—и в рабочих людях видите зверей. Я знаю их, живу среди них вот уже пятнадцать лет,—и говорю вам, что это—*люди*, хорошие, честные люди!—горячо воскликнул он.

— И я могу подтвердить это!—торжественно произнес Сергей Андреевич.

— Люба! Не знаешь ты, который теперь час?—вдруг громко спросил Володя.

Он уже с десять минут стоял на террасе, нетерпеливо и выразительно поглядывал на отца, но он, занятый спором, не замечал его.

Киселев поспешно вынул часы.

— Ого, уж восьмой час! Пора, Сергей Андреевич, лошадь запрягать, а то я к поезду не поспею.

— Папа, Нежданчика запречь?—быстро спросил просиявший Володя.

Все засмеялись.

— Э, брат, у тебя тут, я вижу, тонкая политика была!—протянул Даев, схватив Володю сзади подмышки.—То-то его вдруг заинтересовало, который теперь час!

— Папа, Степану нужно в ночное ехать!—крикнул Володя.

— Да уж придется тебе отвезти Ивана Ивановича,—ответил Сергей Андреевич.—Пускай только Степан лошадь запряжет.

— Ни одного ведь словца, разбойник, без политики не скажет!—проговорил Даев, щекоча Володю.—Бить, брат, тебя никому, вот что.

— А вам?—возразил Володя, ежась и стараясь поймать пальцы Даева.

— Да ведь ты не даешься, злодей!

— Ну, например, за что вы меня щекочете?

— Скажи ты мне, к какой, собственно, мысли этот твой «пример» служит иллюстрацией?

Володя вывернулся из рук Даева и взобрался на перила.

— Никакой я вашей балюстрации не понимаю!

Он спустился на землю и через куртины помчался в конюшню.

Даев взял свой пустой стакан и подошел к Любе.

IV

Сергей Андреевич ревниво поглядывал на Даева. Он видел, как радостно вспыхнула Люба, когда Даев заговорил с нею: неужели он и его взгляды не возмущают ее?.. Даев сел на конце стола возле Любы и вступил с нею в разговор.

— Как для вас, господа, все эти вопросы с высоты теории легко решаются!—говорил между тем Киселев.—Для вас кустарь, мужик! фабричный,—все это отвлеченные понятия, а между тем они—люди, живые люди, с кровью, нервами и мозгом. Они тоже страдают, радуются, им тоже хочется есть, не глядя на то, разрешает ли им это «исторический ход вещей»... Вот я в Нижнем получил от моих палашковских артельщиков письмо...

Киселев достал из бумажника грязную, исписанную каракулями бумагу, медленно надел на нос пенснэ и, откинув голову, стал читать:

— «Дражайшему благодателю нашему Ивану Ивановичу Киселеву от Ерофея Тукалина, Ивана Егорова и т. д. письмо». Письмо!— с улыбкою повторил он, мигнув бровями.—«Писали мы вам, что Косяков Пётра продал кузницу ценою за 81 р. сер. и хотит, чтоб взять деньги в свою пользу. То поэтому, Иван Иванович, как хотите, так и делайте с ним. Но мы же оным не нуждаемся, потому что в той кузне еще не работали и не нуждаемся оной, а вы, как знаете, так делайте распоряжение»... Ну, и так дальше... «И еще кланяемся вам с благодарностью и просим не оставлять нас, за это будем об вас бога молить за ваши благодетельства нас, бедных людей»... Подписано: «братья артели» такие-то... Да, господа, и что вы там ни говорите, а я их не оставлю!—произнес он прерывающимся голосом, снимая пенснэ.

— Какое письмо славное!—сказала Наташа с заблестевшими глазами.

— Ну, во-от! Не правда ли?—просиял Киселев.—Ведь невозможно, господа, так относиться! Книжки вам говорят, что по политической экономии артелями революции вашей нельзя достигнуть,— вам и довольно. А ведь это все живые люди; можно ли так рассуждать?.. Мне и не то еще приходилось слышать: переселения, например, тоже вещь нежелательная, их незачем поощрять, потому что, видите ли, в таком случае у нас останется мало безземельных работников.

— Ну, это вы слышали от какого-нибудь молодца с Страстного бульвара!—с улыбкою сказала Наташа.

В глазах Киселева мелькнул лукавый огонек.

— Нет, я это полчаса назад за этим столом слышал,—медленно произнес он, вежливо улыбаясь.

Наташа вспыхнула и в замешательстве наклонилась над чашкою.

— На очную ставку готов стать с господином Даевым,—прибавил Киселев.

— Я в этом отношении не согласна с Даевым.—Наташа выпрямилась и глядела в глаза Киселеву, с неуспевшею еще сойти с лица краскою.—По-моему, переселения прямо *желательны*, потому что они повысят благосостояние и переселенцев, и остающихся, а это поведет к расширению внутреннего рынка.

Киселев слушал с чуть заметной усмешкою. «Не хочет раскрыть карт!»—думал он. Сергей Андреевич откинулся на спинку стула и с беспощадным, вызывающим ожиданием глядел на Наташу.

— Ну-с, и что же дальше? Для вас это—только маленькое «разногласие» с господином Даевым?.. Странно!—Он усмехнулся и пожал плечами.—Сейчас только сами же вы признали его взгляды достойными Страстного бульвара [1]), а теперь вдруг выходит, что это для вас—так себе, лишь незначительное разногласие!.. Гм! Ну, теперь мне совершенно ясно, почему именно на этом-то бульваре вы и встретили самое горячее сочувствие!

Даев, со стаканом в руках, подошел и остановился, помешивая ложечкою в стакане.

— Скажите, пожалуйста, Василий Семенович, как вы относитесь к переселенческому вопросу?—обратился к нему Сергей Андреевич. Спросил он самым невинным голосом, но глаза его смотрели мрачно и враждебно.

— Слава богу, у нас, оказывается, и переселяться-то некуда,—ответил Даев, видимо, забавляясь негодованием Сергея Андреевича.—Можно ли серьезно говорить у нас о перенаселении? Культура земли самая первобытная, три четверти населения околачивается вокруг земли; этак нам скоро и всего земного шара не хватит. Выход отсюда для нас тот же, что был и для Западной Европы,—развитие промышленности, а вовсе не бегство в Сибирь.

Наташа стала возражать.

Сергей Андреевич слушал, горя негодованием. По такому существенному вопросу они спорили неохотно, с готовностью делали друг другу уступки,—видимо, чтоб только поскорее столковаться и прийти к концу.

— К чему вы, Наталья Александровна, упоминаете о «живых людях», что они для вас?—воскликнул Сергей Андреевич.—Будьте же откровенны до конца: говорите о вашей промышленности и оставьте живых людей в покое. Если бы они грозили остановить развитие

---

[1]) На Страстном бульваре находилась редакция реакционной газеты «Московские Ведомости».

вашего капитализма, то разве вы стали бы с ними считаться? Что значит для вас эта сотня тысяч каких-то «живых людей», умирающих с голоду!

И сейчас же оба они соединились против него, доказывая, что *если бы* кто-нибудь мог остановить развитие капитализма, то и разговор был бы другой, при данных же условиях ничто остановить его не в силах.

Сергей Андреевич стал яро возражать, но положение его в споре было довольно неблагоприятное: в экономических вопросах он был очень несилен и только помнил что-то о рынках, отсутствие которых делает развитие русского капитализма невозможным. Противники же его, видимо, именно экономическими-то вопросами преимущественно и интересовались, и засыпали его доказательствами. Сергей Андреевич чувствовал, что они видят слабость его позиции, и его одинаково раздражал и снисходительный тон возражений Даева, и сожаление к нему, светившееся в глазах Наташи.

К спорящим присоединился и Киселев. Спор тянулся долго,— горячий, но утомительно-бесплодный, потому что спорящие стояли на слишком различных точках зрения. Для Сергея Андреевича и Киселева взгляды их противников были полны непримиримых противоречий, и они были убеждены, что те не хотят видеть этих противоречий только из упрямства: Даев и Наташа объявляли себя врагами капитализма—и в то же время радовались его процветанию и усилению; говорили, что для широкого развития капитализма необходимы известные общественно-политические формы,—и в то же время утверждали, что сам же капитализм эти формы и создаст; историческая жизнь, по их мнению, направляясь неподчиняющимися человеческой воле экономическими законами, итти против которых было нелепо,—но отсюда для них не вытекал вывод, что при таком взгляде человек должен сидеть сложа руки.

— Разве все это не ясные до очевидности противоречия?— спрашивали Сергей Андреевич и Киселев.

Даев и Наташа в ответ пожимали плечами, удивляясь, как можно так плоско понимать вещи.

Впрочем, серьезно спорить и доказывать продолжала только Наташа; Даев больше забавлялся, наблюдая, какую нелепо-уродли-

вую форму принимали их взгляды в понимании Сергея Андреевича и Киселева.

Сергей Андреевич молча прошелся по террасе.

— Нет, господа, чтоб до такой можно было дойти узости, до такой чудовищной черствости и бессердечия,—этого я не ожидал! Ну, и времечко же теперь, нечего сказать,—довелось мне дожить!

— На время грех жаловаться,—серьезно возразил Даев:—время хорошее и чрезвычайно интересное. Великолепное время. А что касается ваших упреков в бессердечии, то, уверяю вас, Сергей Андреевич, убедить ими кого-нибудь очень трудно. Мы утверждаем, что Россия вступила на известный путь развития, и что заставить ее свернуть с этого пути ничто не в состоянии; *докажите*, что мы ошибаемся; но вы вместо этого на все лады стараетесь нам втолковать, что наш взгляд «возмутителен». Странное отношение к действительности! Пора бы уж перестать судить о ее явлениях с точки зрения наших идеалов.

Сергей Андреевич с любопытством спросил:

— Вы полагаете, что пора?

— Да, я думаю, давно уже пора. Жизнь развивается по своим законам, не справляясь с вашими идеалами; нечего и приставать к ней с этими идеалами; нужно принять те, которые диктует сама действительность.

— Боже мой, боже мой! И это—молодежь, надежда страны!..— воскликнул Сергей Андреевич.

Он схватился за голову и взволнованно зашагал по террасе.

Наташа с неопределенною улыбкою смотрела на скатерть. Даев следил за Сергеем Андреевичем с нескрываемою иронией.

— Если об этом говорить, то... Не завидую я стране, которой приходится довольствоваться надеждою на молодежь,—сказал он.— Слава богу, наша страна в этой надежде уж не нуждается. Вырос и выступил на сцену новый глубоко-революционный класс...

— Да не на вас же, конечно, рассчитывать...

Голос Сергея Андреевича сорвался. Он махнул рукою и отошел к концу террасы.

Облака на западе сияли ослепительным золотым светом, весь запад горел золотом. Казалось, будто там раскинулись какие-то широкие, необъятные равнины; длинные золотые лучи пронизали их, расходясь до половины неба, на севере кучились и громоздились тяжелые облака с бронзовым оттенком. Зелень орешников и кленов стала странно-яркого цвета, золотой отблеск лег на далекие нивы и деревни.

Сергей Андреевич, угрюмо прикусив губу, смотрел на торжествующе горевшее небо. Слезы душили его: так вот что стало из Наташи, вот в чем нашла она выход и успокоение!.. На Даева Сергей Андреевич давно уж махнул рукою. Прежде он недоумевал, как могла боевая натура Даева примириться с таким апофеозом квиетизма, потом, однако, решил, что жестокость нового учения вполне соответствовала черствому и недоброму характеру Даева. Но Наташа!..

Сергей Андреевич вспомнил, как однажды, четыре года назад, она заехала к нему с прогулки верхом, вместе с своим двоюродным братом, доктором Чекановым. Столько в ее глазах было тогда жизни и счастья, столько молодости, радостно рвущейся на простор, отзывчивой и любящей! Сергей Андреевич сам весь тот день чувствовал себя как бы помолодевшим. Потом он увидел Наташу два месяца спустя. Она только-что воротилась из Слесарска, где на ее руках умер доктор Чеканов, на-смерть избитый толпою во время холерных беспорядков. Изменилась она страшно: глаза ее горели глубоким, сосредоточенным огнем, всеми помыслами, всем своим существом она как бы ушла в одно желание,—желание страдания и жертвы. В то время Наташа часто бывала у Сергея Андреевича и настойчиво расспрашивала его, что теперь всего нужнее делать, на что отдать свои силы. Он полюбил ее, как дочь, и жизнь для него стала светлее; никогда он не работал столько, как в то время, и работал радостно, без обычного раздражения и ворчаний. Вскоре Наташа уехала на юг сестрою милосердия, затем, по окончании холеры, за границу... И вот что теперь стало из нее!

А между тем попрежнему она была симпатична Сергею Андреевичу... Что же это за проклятая зараза, откуда забрала она столько всепокоряющей силы?!

Из-за сарая выехал на шарабане Володя. Он нахлестывал кнутом Нежданчика, поглядывая на балкон, не следит ли за ним отец, и лихо подкатил к калитке. У стола раздался шум отодвигаемых стульев. Сергей Андреевич воротился к гостям.

Киселев застегивал пальто и надевал дорожную сумку.

— Ну, прощайте, господа!—сказал он, протягивая свою широкую руку Наташе и Даеву.—Желаю вам всего хорошего. Делайте ваше «историческое» дело,—открывайте фабрики, старайтесь обезземелить крестьян, разрушить артель и кустарные промыслы,—может быть, вам когда-нибудь и станет стыдно за это. А мы,—мы с нашими «братьями-артельщиками» не боимся вас... Вы не обижайтесь на меня!..—быстро прибавил он, добродушно улыбаясь и крепко пожимая обеими руками руку Даева.—Сердца у вас хорошие, только теория вас душит, вот в чем горе!

Даев рассмеялся и горячо пожал в ответ руку Киселева.

— А мне позвольте *совершенно искренно* пожелать вам возможно большего успеха.

Киселев спустился с террасы. Сергей Андреевич после всего происшедшего чувствовал к нему прилив особенной любви и нежности; он не спускал с Киселева мягкого, любовного взгляда.

Киселев, ощупывая наполненные карманы пальто, остановился перед шарабаном.

— Доедет молодой человек?—спросил он, оглядывая маленькую фигурку Володи.

Володя покраснел и с обиженною улыбкою быстро взглянул на отца.

— Ничего, доедет... Только, брат, вот что,—сурово обратился Сергей Андреевич к Володе:—кнут пускай в дело пореже, и назад возвращайся через Басово, а не через Игнашкин-Яр.

Лицо Киселева внезапно стало серьезным.

— Ну, Сергей Андреевич, оставайся здоровым!—вздохнул он и раскрыл объятия.—Бог весть, когда теперь свидимся.

Они крепко поцеловались три раза накрест. Потом Сергей Андреевич еще раз прижал к себе Киселева и долго, горячо поцеловал его,

как бы желая этим поцелуем выразить всю силу своего уважения и любви к нему.

Киселев ступил на подножку шарабана, тяжело накренившегося под ним, уселся и еще раз ощупал карманы. Володя тронул Нежданчика.

V

Сергей Андреевич воротился на террасу. В душе у него кипело. Его мучило, что на все его упреки Наташа и Даев отвечали только пожиманием плеч и сдержанной улыбкой; и ему хотелось хоть в чем-нибудь пристыдить их.

Наташа, Люба и Даев сидели у самовора и разговаривали. Сергей Андреевич, насупившись, несколько раз прошелся по террасе.

— Извините, господа,—сказал он.—Ну, можно ли было завязывать с Иваном Ивановичем такой спор? Неужели вы не чувствовали, до чего это было грубо и бестактно?

Даев удивленно поднял брови.

— Почему?

— Какая была у вас цель? Неужели—убедить Ивана Ивановича, что дело всей его жизни—пустяки, что от него надо отказаться?

— Я решительно не могу понять такого страха перед свободным обсуждением. Тогда и я вас упрекну: зачем вы с нами спорите? Может быть, и вы нас убедите отказаться от нашей деятельности? А относительно Киселева вы напрасно беспокоитесь: он настолько верит в свое дело и настолько туп, что его никто не переубедит. И вы меня извините, Сергей Андреевич,—я думаю, что возражения наши больше огорчили не его, а вас, потому что вы в душе и сами не слишком-то верите в чудеса артели.

— Никто о чудесах и не говорит,—устало произнес Сергей Андреевич.—Но дело это, во всяком случае, хорошее, и к нему непозволительно относиться так свысока, как вы делаете.

— Позвольте, Сергей Андреевич, Иван Иванович говорил именно о чудесах,—возразила Наташа.—Но мне хотелось бы знать вот что:

вы все время возражали нам, защищали Киселева; как же, однако, сами вы смотрите хоть бы на ту же общину или артель? Мне это осталось неясным.

— Не знаю, Наталья Александровна! Это только для вас будущее ясно, как на ладони; по-моему, жизнь сложнее всяких схем, и никто, относящийся к ней сколько-нибудь добросовестно, не возьмется вам отвечать.

— Но ведь выдвигает же эта жизнь какие-нибудь исторические задачи? Во что же верить, каким путем итти? Чтò нужно делать?

Это были те же вопросы, которые Сергей Андреевич слышал от Наташи и четыре года назад. Тогда она с тоскою ждала от него, чтоб он дал ей веру в жизнь и указал дорогу,—и ему было тяжело, что он не может дать ей этой веры, и что для него самого дорога неясна. Теперь, когда Наташа верила и стояла на дороге, Сергея Андреевича приводила в негодование самая возможность тех вопросов, которые она ему задавала.

Волнуясь и раздражаясь, он стал доказывать, что жизнь предъявляет много разнообразных запросов, и удовлетворение всех их одинаково необходимо, а будущее само уж должно решить, «историческою» ли была данная задача, или нет; что нельзя гоняться за какими-то отвлеченными историческими задачами, когда кругом так много насущного дела и так мало работников.

— Ну, да, то же самое я слышала от вас и четыре года назад,— сказала Наташа:—«не знаю»—и поэтому всякое дело один ково хорошо и важно; только тогда вы не думали, что иначе и не может быть...

Наташа быстро прошлась по террасе.

— Как можете вы с этим жить!—произнесла она и с дрожью повела плечами.—Киселев наивен и живет вне времени, но он, по крайней мере, верит в свое дело; а во что верите вы? В окружающей жизни идет коренная, давно невиданая ломка, в этой ломке падает и гибнет одно, незаметно нарождается другое, жизнь перестраивается на совершенно новый лад, выдвигаются совершенно новые задачи. И вы стоите перед этим хаосом, потеряв под ногами вся-

кую почву; старое вы бы рады удержать, но понимаете, что оно гибнет бесповоротно; к нарождающемуся новому не испытываете ничего, кроме недоверия и ненависти. Где же для вас выход? На все вы можете дать только один ответ: «не знаю!» Ведь перед вами такая пустота, такой кромешный мрак, что подумать жутко!.. И во имя этой-то пустоты вы вооружаетесь против нас и готовы обвинить чуть не в ренегатстве всех, кто покидает ваш лагерь! Да оставаться в вашем лагере невозможно уж по одному тому, что это значит прямо обречь себя на духовную смерть.

— И не оставайтесь, Наталья Александровна, ищите дорогу! Когда вы ее найдете, мы первые же с радостью пойдем за вами. Но вместо того, чтоб искать, вы зажмуриваете глаза, самоуверенно объявляете: «мы знаем!»—там, где знать ничего не можете, и с легким сердцем готовы губить все, что не подходит под вашу схему. Разве это значит найти дорогу?.. Нет, Наталья Александровна, колоссальный успех вашей, с позволения сказать, «программы» я могу лишь объяснить совсем другим,—тем всеобщим одичанием, которое вызвано теперешним безвременьем.

— Я думаю, успех ее объясняется тем, что сама жизнь слишком неопровержимо доказала ее правильность. Если бы вы видели, какие радостные, кипучие родники борьбы и жизни бьют там, куда пошли мы!.. А за все то, что мы будто бы собираемся губить, вы можете быть совершенно спокойны: как можем мы что-нибудь губить? Мы никакой силы собою не представляем!

Сергей Андреевич молча оглядел Наташу и едко усмехнулся.

— Да, резюме, во всяком случае, получается весьма поучительное,—и уж, конечно, где ж тут может быть речь о «духовной смерти»! *Мы силы никакой не представляем. Идеалы наши подчиняем действительности. Нигде никому помочь не можем...*

Наташа хотела возразить, нервно пожала плечами и замолчала. Даев, посмеиваясь, следил за нею.

— Я думаю, спор давно уж пора кончить,—сказал он.—Ясно, что мы говорим на разных языках и никогда не столкуемся.

— Действительно, пора кончить: мне уж давно время ехать.— Наташа быстро встала.

— Вот-те раз! Наталья Александровна, полноте, куда это вам?— всполошился Сергей Андреевич.—Сейчас ужин готов. Много ли вам ехать-то, всего пять верст!..

Наташа улыбнулась.

— Нет, не пять, а тридцать пять. Я в город еду, к вам по дороге заехала.

— В таком случае, ехать уж слишком поздно. Когда вы теперь в город приедете,—завтра на заре! Ведь вы не мужчина, Наталья Александровна: мало ли что может случиться по дороге! Ночи теперь темные. Оставайтесь-ка лучше у нас ночевать. Переночуете с Любой, а завтра утром напьетесь себе чаю и поедете.

— Вот еще!—рассмеялась Наташа.—Какая, подумаешь, опасная дорога! У меня в городе дело есть, завтра утром непременно нужно быть; да и жарко ехать днем.

Сергей Андреевич помолчал.

— Ну, господь с вами!

Наташа спустилась с лесенки и стала отвязывать от загородки лошадь. Сергей Андреевич, задумчиво теребя бороду, молча смотрел, как Наташа взнуздывала лошадь, как Даев подтягивал на седле подпруги. Наташа перекинула поводья на луку.

— Спасибо вам, Наталья Александровна, что заехали,—медленно произнес Сергей Андреевич.—Но должен сознаться,—с горечью прибавил он,—не *такою* думал я вас увидеть.

— Какая есть!—ответила Наташа с своею быстрою усмешкою.

Сергей Андреевич нахмурился и молча пожал ее протянутую руку.

VI

Наташа уехала. Сергей Андреевич постоял, засунув руки в карманы, надел фуражку и медленно пошел по деревенской улице.

Запад уже не горел золотом. Он был покрыт ярко-розовыми, клочковатыми облаками, выглядевшими, как вспаханное поле. По дороге гнали стадо; среди сплошного блеянья овец слышалось протяжное мычанье коров и хлопанье кнута. Мужики, верхом на устало шагавших лошадях, с запрокинутыми сохами возвращались с па-

хоты. Сергей Андреевич свернул в переулок и через обсаженные ивами коноплянники вышел в поле. Он долго шел по дороге, понурившись и хмуро глядя в землю. На душе у него было тяжело и смутно.

Дорога мимо полос крестьянской ржи сворачивала к Тормину. Сергей Андреевич присел на высокую межу, заросшую икотником и полевою рябинкою. Заря гасла, розовый цвет держался только на краях облаков и наконец исчез. Облака стали скучного свинцово-серого цвета. По широкой равнине, среди хлебов, мягко темнели деревни, в дубовых кустах Игнашкина-Яра замигал костер. Мужик, с полным мешком за плечами, шел по тропинке через рожь. Попрежнему было тепло, и чувствовалась близость к земле, и попрежнему медленно двигались в небе серые тучи, не угрожавшие дождем.

Мужик с мешком вышел на дорогу и повернул по направлению к Тормину.

— Прогуляться вышел по холодочку?—ласково обратился он к Сергею Андреевичу, поравнявшись с ним.

— Это ты, Капитон! Добрый вечер! Откуда бог несет?

Капитон спустил мешок на землю и достал из кармана кисет.

— Ходил к мельничихе, вот мучицы забрал до новины...

Он набил табаком трубку и спрятал кисет.

— Ну, дай, посижу с тобою, передохну маленько,—сказал он, сел на межу рядом с Сергеем Андреевичем и стал закуривать.

— Как старуха твоя поживает?—спросил Сергей Андреевич.

— Опух в ногах уничтожился, слава богу. Под сердце нет-нет, да и подкатит, а только работает нынче хорошо, дай бог тебе здоровья.

Они помолчали.

— Вот рожь-то какая уродилась! И косить нечего будет,—сказал Сергей Андреевич и кивнул на тянувшуюся перед ним полосу; редкие, чахлые колосья ржи совершенно тонули в море густых васильков и полыни.

Капитон поглядел на полосу и неохотно ответил:

— Скосишь, брат, и такую. Моя вот полоска такая же точно.

— Посеялся поздно, что ли?

— А то с чего же?.. Приели к Филиппову дню хлебушко, ну, и набрал по четверти,—у мельничихи, у Кузьмича, у санинского барина. Отдать-то отдай четверть, а отработать за нее надо, ай нет? Там скоси десятинку, там скоси,—ан свой сев-то и ушел. Вот и коси теперь васильки... А тут еще конь пал у меня на Аграфенин день,—прибавил он, помолчав.

— Ну, брат, плохо твое дело! Как же ты теперь жить будешь?

— Да уж... как хошь, так и живи,—медленно ответил Капитон и развел руками.

Сергей Андреевич угрюмо возразил:

— «Как хошь»... Ведь как-нибудь надо же прожить!

— Как же не надо? Знамо дело,—надо.

— Так как же ты проживешь?

— Как! Н-ну...—Капитон подумал.—Кабы сын был у меня, в люди бы его отдал: все кой-что домой бы принес.

— Так ведь нет же сына у тебя!

— То-то, что нет! Вот я же тебе и объясняю: как хошь, мол, так и живи.

Сергей Андреевич замолчал. Капитон тоже молчал и задумчиво попыхивал трубкою.

— Жизнь томная, это что говорить. То-омная жизнь!—произнес он словно про-себя.

Сергей Андреевич, угрюмо сдвинув брови, смотрел вдаль. Он припоминал сегодняшний спор и думал о том, что бы испытывали Наташа и Даев, слушая Капитона. Сергей Андреевич был убежден, что они ликовали бы в душе, глядя на этого горького пролетария, которого даже по недоразумению никто не назвал бы самостоятельным хозяином.

Капитон докурил трубку, простился с Сергеем Андреевичем и пошел своею дорогою.

Равнина темнела, в деревнях засветились огоньки. По дороге между овсами проскакал на ночное запоздавший парень в рваном зипуне. Последний отблеск зари гас на тучах. Трудовой день кончился, надвигалась теплая и темная, облачная ночь.

Сергей Андреевич стоял, оглядывая даль; он чувствовал, как дорога и близка ему эта окружающая его бедная, тихая жизнь, сколько удовлетворения испытывал он, отдавая на служение ей свои силы. И он думал о Киселеве, думал о сотнях рассеянных по широкой русской земле безвестных работников, делающих в глуши свое трудное, полезное и невидное дело... Да, ими всеми уже сделано кое-что, они с гордостью могут указать на плоды своего дела. *Те*, узкие и черствые, относятся к этому делу свысока... Что-то сами они сделают? И тяжелая злоба к ним шевельнулась в Сергее Андреевиче, и он почувствовал, что никогда не примирится с ними, никогда не протянет им руки...

Через всю свою жизнь, полную ударов и разочарований, он пронес нетронутым одно—горячую любовь к народу и его душе, облагороженной и просветленной великою властью земли. И эта любовь, и его тоска перед тем, что так чужда ему народная душа,—все это для *них* смешно и непонятно. Им смешны сомнение и раздумье над путями, какими пойдет выбивающаяся из колеи народная жизнь. К чему раздумывать и искать, к чему бороться? Слепая историческая необходимость—для них высший суд, и они с трезвенною покорностью склоняют перед нею головы...

— Да, что-то они сделают?—повторял Сергей Андреевич, мрачно глядя в темноту.

1897

НА ЭСТРАДЕ

Большая зала была ярко освещена. На широкой эстраде, за столиком с двумя свечами, сидел писатель Осокин и, напрягая слабый голос, читал по книге отрывок из своего рассказа. Зала была переполнена публикою, но в ней было тихо, как в безветреную сентябрьскую ночь в поле. Когда Осокин отводил взгляд от книги, он видел внизу смутное море голов и сотни внимательных глаз, устремленных на него...

Осокин был бледен. Читал он неразборчиво и плохо, и на душе у него было странно: он читал самое задушевное и дорогое для него из всего, им написанного; перед ним живьем находился тот невидимый, далекий читатель, которого ему так всегда хотелось увидеть; а между тем то, что читал Осокин, в его собственных ушах звучало чуждо и фальшиво, а слушатели казались совсем не теми читателями, для которых он писал.

Ему все больше хотелось поскорее кончить. Он стал пропускать одни фразы, комкать другие. Вот наконец абзац, отчеркнутый синим карандашом... Конец!

Осокин закрыл книгу и встал. Море голов сразу всколыхнулось, со стен и с потолка с оглушительным треском как-будто посыпалась штукатурка: это загремели рукоплескания. Осокин неуклюже поклонился и, кусая губы, с бледным, злым лицом, вышел через маленькую дверцу в «артистическую».

Из залы неслись рукоплескания. Перед зеркалом молодая декольтированная дама, которой предстояло петь после Осокина, дрожа-

щими от волнения руками оправляла прическу. Отыгравшая уже толстая дама-пианистка внимательно смотрела на Осокина. За столом с закусками распорядители угощали и занимали артистов и артисток.

Господин средних лет, с черною бородкою и в золотом пенснэ, подхватил Осокина под руку и, оживленно говоря что-то, сел с ним на диван. Осокин не знал, где и когда познакомился с господином, но тот держался с ним, как хороший знакомый.

— С успехом!.. Вот это так успех!—говорил господин.—Слышите, как беснуются? Никому так не хлопали!.. Нужно выйти, раскланяться.

— Ну их к чорту!—сердито ответил Осокин.

— Нельзя, Сергей Васильевич. нельзя!—произнес господин с улыбкою, с какою обращаются к милым, но ничего не понимающим детям.—Как-никак, а нужно уважать публику.

В артистическую вбежал распорядитель с розеткою в петлице.

— Все вас зовут, кричат!—с почтительною улыбкою обратился он к Осокину.

— Пускай! Я не пойду!—упрашивающе сказал Осокин.

— Нет, нет, нет! Нельзя, никак нельзя!—неумолимо воскликнул господин в пенснэ, шутливо взял Осокина под руку и заставил его встать.

Распорядитель приятно и почтительно улыбался.

— Барышни всю воду распили по глоткам из стакана, из которого вы отхлебнули во время чтения,—сказал он.

— Вот бабье!—презрительно усмехнулся Осокин, и углы его губ самодовольно задрожали.

Он вздохнул и пошел на эстраду. Зала загремела и заревела. Публика покинула места, теснилась вокруг эстрады и на самой эстраде. При входе Осокина толпа раздалась. Он видел вокруг свежие девические лица с устремленными на него блестящими, восторженными глазами.

— Осо-о-окин! Bis!!—зычным басом кричал высокий студент, старательно и оглушительно-громко хлопая в ладоши.

— Bis! Bis! Осокин!—звенели женские голоса, и девушки хлопали, стараясь хлопать громче.

Осокин с сдержанною улыбкою неуклюже кланялся. Когда он повернулся, чтобы уйти, девушки загородили ему дорогу и, смеясь, продолжали хлопать и кричать «bis!». Распорядитель высунулся и протянул Осокину книгу.

— Браво! Браво! Bi-i-i-is!!—радостно и еще сильнее закричали кругом.

Осокин, улыбаясь, развел руками и покорно раскрыл книгу.

— Шш-шш-шш!..—понеслось по зале.

Он помолчал, сделал серьезное лицо и стал читать из книги другой отрывок. Теперь то дорогое ему и задушевное, что было им написано, казалось Осокину красивым и эффектным, и он гордился, что мог так написать; публика стала близкою и милою, и в то же время он испытывал к ней снисходительно-презрительное чувство.

Овации и вызовы тянулись долго. Осокин читал еще три раза и, наконец, объявил, что у него нет больше голоса. Только тогда публика стала понемногу утихать.

На эстраду вышла декольтированная певица, с трубочкою нот в руках, в сопровождении аккомпаниатора во фраке.

Dans le printemps de mes années
Je meure, victime de l'amour...

запела она. Осокин вместе с господином в золотом пенснэ прошел через значительно обезлюдевшую залу в буфет. Здесь было людно и шумно.

— Что ж, чайку, что ли, выпьем?—сказал Осокин.—Займите местечко, а я пойду чай добывать. Тут лакеев не полагается.

Вокруг длинного стола теснилась толпа; стол был заставлен стаканами и тарелками с бутербродами; за самоваром две распорядительницы разливали чай. Осокин вмешался в толпу и стал осторожно протискиваться к столу. Окружающие почтительно косились на него и давали дорогу; Осокин делал вид, что не замечает обращенных на него взглядов, и старался держаться так, как-будто и не подозревал, что кто-нибудь из окружающих знает его.



— Виноват!—с особенно предупредительною и извиняющеюся улыбкою говорил он, если задевал кого локтем или загораживал дорогу выбирающемуся из толпы.

Наконец, Осокин добрался до стола и попросил два стакана чаю. Стоявшая рядом девушка в голубой кофточке, перетянутой широким кожаным поясом, обернулась на звук его голоса, узнала Осокина и, сделав безразличное лицо, быстро отвернулась. Распорядительница налила два стакана; Осокин потянулся к ним мимо своей соседки. С тем же неестественно-безразличным лицом девушка взяла стаканы и передала их Осокину, своими озабоченно нахмуренными бровями показывая, что ей до него нет решительно никакого дела. И вдруг, в последний момент, когда Осокин брал из ее рук стаканы, девушка вспыхнула, в ее детски-ясных глазах мелькнуло радостное смущение, и она быстро опустила глаза.

Осокин, скрывая улыбку, сел со стаканами к столику, где уже занял два места господин в пенснэ. Подошли знакомые. Осокин разговаривал, чувствуя устремленные на себя со всех сторон внимательные взгляды. Эти взгляды совершенно парализовали все его обычные, естественные движения; тело стало пружинным, как у автомата. Осокин наблюдал за собою и с отвращением прислушивался к счастливому, довольному смеху, дрожавшему в глубине его груди.

Напившись чаю, они пошли в залу послушать балалаечников. Осокин переходил из рук в руки, с ним знакомились наперерыв. Господин в пенснэ сообщил ему, что с ним желает познакомиться графиня Энтведер-Одер. Он подвел к ней Осокина. Графиня усадила его рядом с собою и, играя лорнетом, заявила, что она «большая поклонница его прелестных произведений» и что давно искала случая познакомиться с ним.

Часы шли. Осокин ходил по залам с скромно-приветливым видом принца, соблюдающего всем известное инкогнито. Он чувствовал этот свой скромно-гордый вид, и отвращение все больше охватывало его. Но овладеть собою он не мог, и ноги против воли ступали по паркету с какою-то нелепою торжественностью. А кругом все попрежнему—эти сотни устремленных на него почтительно-внимательных, любопытствующих взглядов.

На Осокина вдруг нашло странное настроение, которое иногда в людных местах неожиданно находило на него. Как-будто что-то спало с его глаз, и все люди, даже близко знакомые, вдруг стали новыми, с какими-то странно-чуждыми и все выдающими лицами. И он с удивлением приглядывался к этим лицам и видел ярко отпечатанный на них душевный холод и беспросветное довольство собою. Чтò тянет этих людей к нему, и кто это сам он—этот мелкий, тщеславный человечек, гордящийся красотою и увлекательностью своего припечатанного к бумаге чувства?.. Осокин все сильнее чувствовал, что между ним и окружающими есть какая-то крепкая, тайная связь, есть безмолвное соглашение, которое каждый держал про себя и ни за что не высказал бы другому.

Вечер кончился. Толпа густым потоком повалила к выходу.

Осокин спускался в толпе по лестнице. Вдруг наверху, около перил, какой-то молодой, сильный мужской голос крикнул на всю лестницу:

— Осо-окин!.. Ура!

Словно искра пробежала по всей веренице; раздался взрыв оглушительных рукоплесканий.

— Осо-окин!.. Осокин!..

Осокин, бледный и растерянный, остановился на площадке лестницы. Со всех сторон кричали:

— Спасибо!.. Спасибо вам!

Закусив губу и тяжело дыша, он молча смотрел на рукоплескавших и слушал обращенные к нему крики.

Рукоплескания становились гуще, сильнее и настойчивее. Толпа, спускавшаяся с площадки дальше по лестнице, остановилась и оборотилась к Осокину, загораживая ему дорогу. Все как-будто ждали, чтоб Осокин сказал что-нибудь.

Осокин все больше бледнел и молча, не кланяясь, смотрел на кричавших. Что ему было сказать? Он знал, чтò в таких случаях следовало говорить; дрожащим от волнения голосом он должен был объявить, что эта минута—лучшая в его жизни, что она составляет самую высшую награду за его труд. Но Осокин чувствовал, напро-

тив, что эта минута—нечто ужасное, что она болезненно-ярко осветила перед ним все те сомнения и колебания, которые давно уже нарастали в душе.

Глаза его блеснули. Он вскочил на подоконник и стал говорить.

— Шш-шш-шш!..—нетерпеливо понеслось по лестнице. Вокруг стихло.

— Господа!..—начал Осокин, задыхаясь.—Я вижу, я всем вам очень чем-то угодил. Мне хотелось бы выяснить, чем именно заслужил я те восторги и овации, которыми вы сегодня так щедро осыпали меня... Идет великая рать бойцов на великое освободительное дело. Я—рядовой этой рати, ну, может быть, один из ее... барабанщиков, что ли? Но разве такие почести, какие вы сегодня воздали мне, выпадают на долю простым барабанщикам? Нет, дело тут в чем-то другом... За что же вы благодарите меня? За «чудные звуки», за наслаждение, которое я даю вам своими... «прелестными произведениями»? В таком случае, господа, вы ошиблись адресом. Идите к тем, для кого эти «чудные звуки» составляют цель и высшую правду; для меня же они—высшая ложь, самое ужасное *проклятие* искусства, и благодарить меня за доставляемое наслаждение—это злая насмешка или обидное признание моего бессилия. Я вовсе не хотел доставлять вам наслаждение,—я хотел вас мучить, терзать... Но нет, вы и не скажете, что благодарите меня за доставляемое наслаждение,—по крайней мере, большинство из вас. Вы благодарите меня, конечно, за те «чувства добрые», которые я пробудил в вас великою силою искусства.

«Да, сила искусства велика, но сила его—вовсе не в способности пробуждать «добрые чувства». Проклятая и развращающая сила искусства заключается в том, что оно самым невероятным образом перерождает и уродует всякое чувство, всякое душевное движение, вызываемое действительностью. Художник замахивается на жизнь бичом, но в момент удара бич его превращается в мягкую гирлянду душистых ландышей. Он подносит к людским сердцам огонь, способный зажечь и двинуть камень, а людские сердца в ответ начинают тлеть чуть теплым огоньком мягкой и бездеятельной душевной

потрясенности. Подобно буферу вагона, искусство дает человеку возможность легко и приятно переживать все самые тяжелые душевные толчки. И вот за это-то буферное действие искусства вы, в действительности, так горячо и благодарите нас... Господа, будем говорить начистоту! Конечно, вас привлекает и захватывает в нас не красота. Что̀ красота! Мы вам даем возможность переживать чувства посильнее и поприятнее чисто-эстетических. Вы переживаете с нами два самых высших счастья, какие только знает жизнь,—счастье борьбы и счастье всезахватывающей любви к человеку. И как дешево можно от нас получить это счастье—для этого не нужно ни бороться, ни любить! Притом счастье это, обработанное нашими руками, так гладко, тепло и комфортабельно! В жизни оно гораздо более шероховато и более жгуче. Раненный боец, уверяю вас, совершенно не замечает своей красивой позы, а только ощущает ужасно неприятную боль в ране; когда человек гибнет в правой борьбе, он вовсе не окружен тем всеобщим сочувствием, которое возбуждается к нему в читателях нашим изображением этой борьбы.

«О, счастье их велико,—счастье побежденных и измученных, но горячо верящих в грядущую победу... Но это счастье отличается от вашего счастья больше, чем лесной пожар от потрескивающего в камине мирного огонька. Есть они, есть эти люди, суровые и бодрые, но—неужели это случайность?—как раз для них-то мы совершенно ненужны и в лучшем случае представляем лишь приятный дессерт. А за дессерт кто же станет так восторженно благодарить! Так благодарят лишь за хлеб, дающий жизнь... И вы благодарите нас именно за даваемую вам жизнь, которой нет в ваших собственных душах, за ту сытость, которую вы испытываете благодаря нам. Но ведь эта сытость—язва, на смерть убивающая душу, и получать за нее благодарности—самое тяжкое оскорбление!.. Что̀ можете вы еще пережить в жизни? Художники—начиная с Толстого, Гюго, Достоевского и кончая нами, малыми—дали вам легко и приятно пережить все самые тяжелые душевные катастрофы. И вы ими пресытились. Вы устали бороться, не боровшись, вы устали любить, не любивши. Вы всё пережили бездеятельным чувством,—и что же дивиться, что в суровой жизни вы скисаетесь быстрее, чем молоко во время грозы?

«Все это жестоко и несправедливо,—скажете вы.—Мы чувствуем светлые искры, зароненные в наши сердца, и за эти-то искры и благодарим»... Но в таком случае позвольте, господа! В чем же проявились эти возженные искры? Чем заслужили вы право благодарить за них и... и чем заслужил я право принимать ваши благодарности? Это-то последнее, может быть, самое важное из всего; самое важное то, что здесь мы с вами тесные союзники. Жизнь вызывает в нас порыв броситься в битву, а мы этот порыв претворяем в красивый крик и несем его к вам... Давно сказано: «слово писателя есть его дело». Может быть! Но суть-то в том, что дело это все-таки остается лишь словом, и в душе мы с вами прекрасно понимаем всю чудовищную неестественность этого дела-слова. Понимаем и молчим, потому что так выгоднее и приятнее. Там внизу дико бурлит и грохочет громадная жизнь. Наши арфы отзываются на этот грохот слабым, меланхолическим стоном и будят гармонический отклик в струнах ваших душ. Получается нежная, прекрасная музыка, и на душе становится тепло и уютно. Но неужели же вы не чувствуете, сколько душевного разврата в этой музыке, неужели вы не чувствуете, что принимать за нее благодарности стыдно? Нет, господа, простите,—я не совсем еще потерял стыд, и вашей благодарности я не принимаю!..»

1900

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО „НЕДРА“

Адрес Редакции и Конторы: Москва, Свердловская площадь, д. № 2/7, 10. Телеф. 5-05-98.

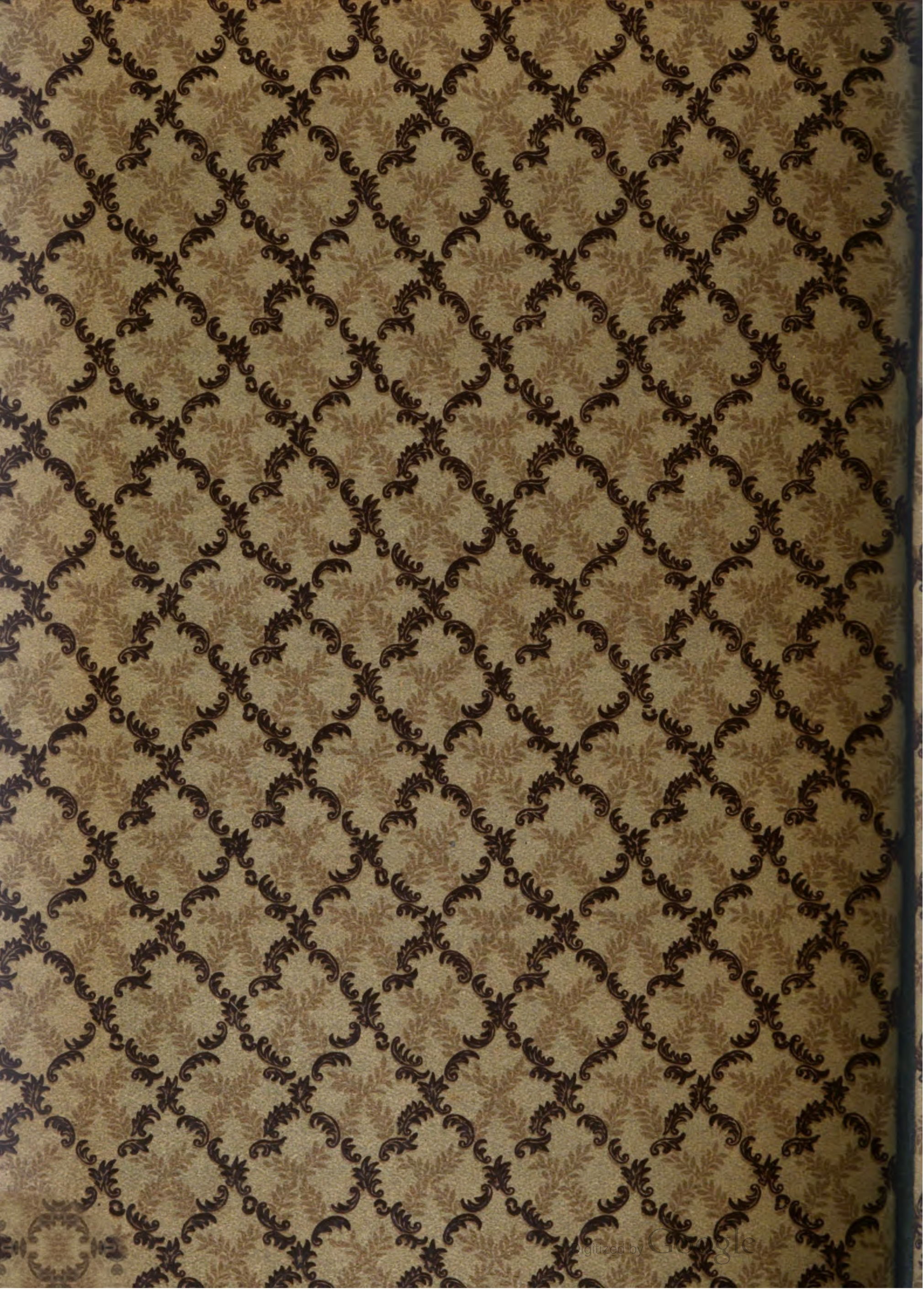
Склад—Москва, Тверская, Пименовский пер., д. № 8. Тел. 2-17-71.

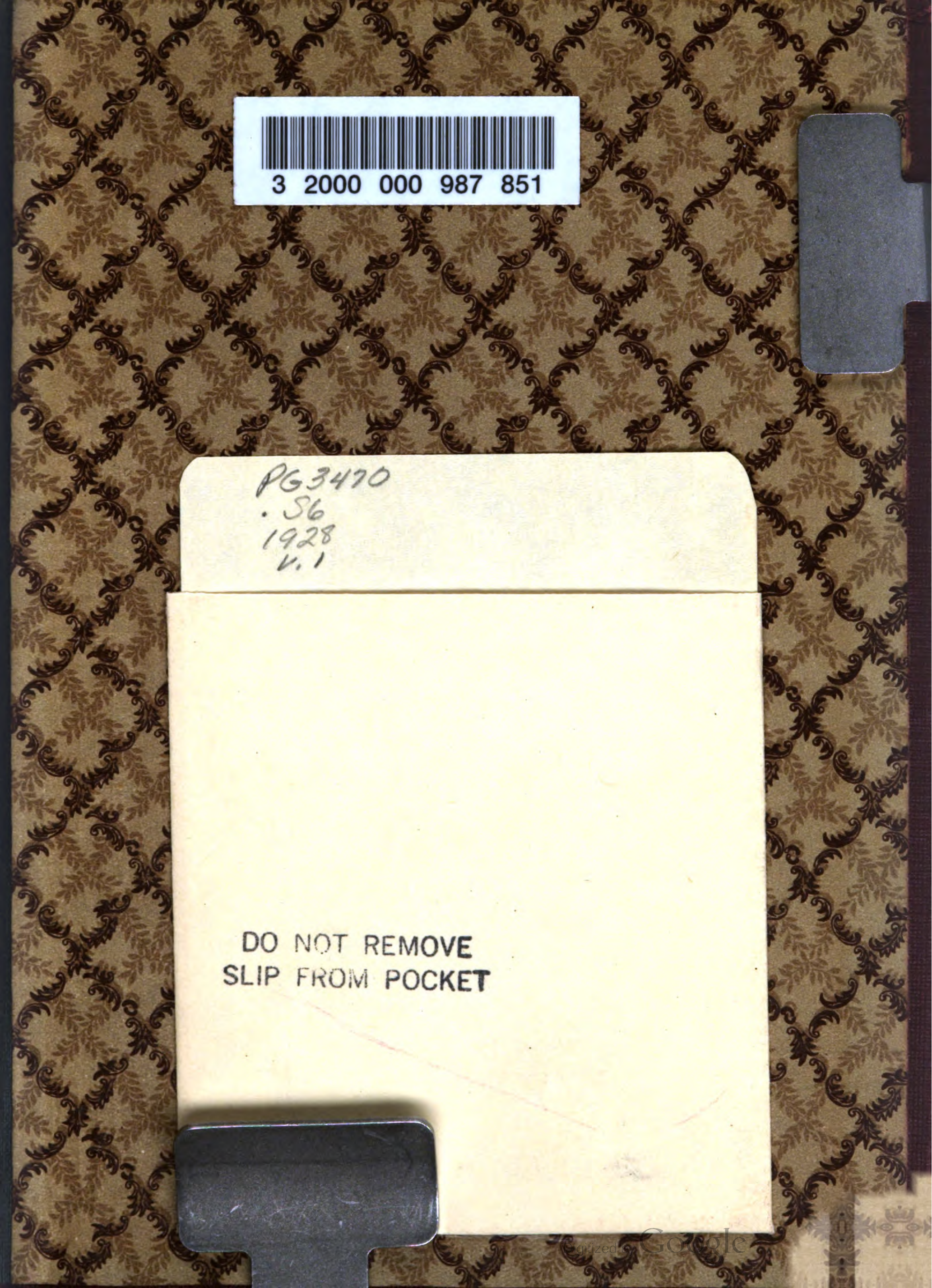
НОВЕЙШАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

РУССКАЯ

Алексеев Глеб—«Горькое яблоко», расск. Ц. 1 р. 35 к.
Алексеев Глеб—«Свет трех окон», расск. Ц. 1 р. 40 к.
Бахметьев, В.—«На земле», рассказы. Ц. 80 к.
Бибик, А.—«К широкой дороге». (Роман, изд. 7-е, перераб. и доп. автором). Ц. 2 р. 25 к.
Бибик, А. — «На черной полосе» (Роман, изд. 6-е, доп. автором). Ц. 1 р. 90 к.
Бибик, А.—«Старый токарь», расск., книга 1-я. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 50 к.
Бибик, А.—«Жесткая учеба», расск., книга 2-я. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 50 к.
Бибик, А.—«Новая Бавария», рассказ. Ц. 1 р. 80 к.
Булгаков, М.—«Дьяволиада», рассказы, изд. 2-е. Ц. 1 р. 50 к.
Вересаев, В.—«В тупике», роман, изд. 5-е. Ц. 2 р.
Вересаев, В.—«Два конца», повесть, изд. 2-е. Ц. 1 р. 30 к.
Вересаев, В.—«В юные годы» (воспоминания). Ц. 2 р.
Вересаев, В.—«В юные годы», воспоминания, изд. для юношества. Ц. 1 р. 70 к., в папке 1 р. 95 к.
Вересаев, В.—«Живая жизнь», ч. I. О Достоевском и Льве Толстом, изд. 4-е. Ц. 2 р. 25 к.
Вересаев, В.—«Живая жизнь», ч. II, «Аполлон и Дионис» (о Ницше), изд. 2-е. Ц. 90 к.
Вересаев, В.—«Что нужно для того, чтобы быть писателем?» (Лекция для литературной студии), изд. 2-е. Ц. 25 к.
Вересаев, В.—«Об обрядах старых и новых» (к художественному оформлению быта). Ц. 25 к.
Вересаев, В.—«Записки врача», изд. 11-е. Ц. 1 р. 50 к.
Вересаев, В.—«Пушкин в жизни». (Систематический свод подлинных свидетельств современ.). Вып. I, изд. 2-е доп. Ц. 1 р. 60 к.
Вересаев, В.—«Пушкин в жизни». Вып. II, изд. 2-е доп. Ц. 1 р. 75 к.
Вересаев, В.—«Пушкин в жизни». Вып. III, изд. 2-е доп. Ц. 1 р. 60 к.
Вересаев, В.—«Пушкин в жизни». Вып. IV. Ц. 1 р. 70 к.
Вересаев, В.—Гесиод. «Работы и дни».—Земледельческая поэма, пер. с древ.-греческ. Ц. 1 р. 20 к.
Вересаев, В.—«Гомеровы гимны», пер. с древ.-греческ. Ц. 1 р. 10 к.
Веселый, Артем.—«Страна родная», роман, изд. 2-е. Ц. 1 р. 40 к.
«Времена года в русской поэзии». Сборник стихотворений под ред. Н. Ангарского. Рисунки художника Д. Мельникова. С вступительной статьей В. Голубкова. Ц. 1 р.
Герасимов, М.—«Покос», стихи и поэмы. Ц. 1 р. 25 к.

Грин, А.—«Гладиаторы», рассказы. Ц. 75 к.
Губер, Б.—«Соседи», рассказы. Ц. 1 р. 10 к.
Завадовский, Л.—«Вражда», рассказы. Ц. 1 р.
Завадовский, Л.—«Песнь седого волка», рассказы. Ц. 1 р. 30 к.
Завадовский, Л.—«Железный круг», расск. Ц. 1 р. 70 к.
Завалишин, А.—«Первый блин», рассказы. Ц. 75 к.
Завалишин, А.—«Пепел», расск. Ц. 1 р. 45 к.
Иванов, Вс.—«Возвращение Будды», повести, том II. Ц. 1 р.
Кириллов, В.—Стихотворения, книга первая 1913—1923 г. Ц. 1 р. 50 к. (распродано).
Кириллов, В.—«О детстве, море и красном знамени». Ц. 50 к.
Крутиков, Д.—«Старый хмель», рассказы. Ц. 1 р. 20 к.
Крутиков, Д.—«Черная половина», роман. Ц. 1 р. 25 к.
Крутиков, Д.—«Люди конные», расск. Ц. 1 р. 30 к.
Крутиков, Д.—«Кудеяров вир», расск. Ц. 1 р. 25 к.
Ляшко, Н.—«Повести», изд. 2-е. Ц. 1 р.
Ляшко, Н.—«Железная тишина». Расск., изд. 3-е. Ц. 75 к. (распр.)
Ляшко, Н.—«Радуга». Рассказы, изд. 2-е. Ц. 75 к.
Никандров, Н.—«Рынок любви», рассказы, изд. 3-е. Ц. 1 р. 60 к.
Никандров, Н.—«Любовь Ксении Дмитриевны», расск. Ц. 1 р. 75 к.
Никандров, Н.—«Весельчаки», рассказы. Изд. 3-е. Ц. 1 р. 75 к.
Никандров, Н.—«Все подробности», рассказы. Изд. 6-е. Ц. 2 р.
Обрадович, С.—«Винтовка и любовь», стихи. 1921—23 год. Ц. 70 к.
Перегудов, А.—«Человечья весна», рассказы. Ц. 1 р. 10 к.
Перегудов, А.—«Баян», рассказы. Ц. 1 р. 05 к.
Романов, Пантелеймон.—«Дружный народ», расск. Изд. 2-е Ц. 1 р. 35 к.
Романов, Пантелеймон.—«Хорошие места», рассказы. Ц. 1 р. 35 к.
Романов, Пантелеймон.—«Заколдованные деревни», расск. Ц. 1 р. 35 к.
Романов, Пантелеймон.—«Черные лепешки», расск. Ц. 2 р.
Ряховский, В.—«Сокращение штатов», повесть. Ц. 65 к.
Садофьев, И.—«Простей простого», стихи и поэмы. Ц. 1 р. 25 к.
Серафимович, А.—«Железный поток», повесть, изд. 2-е. Ц. 1 р. (распродано).
Серафимович, А.—«Живая тюрьма», расск., изд. 2-е. Ц. 1 р. (распр.).
Серафимович, А.—«Ледоход», рассказы, изд. 2-е. Ц. 90 к.
Сергеев-Ценский, С.—«Недра», рассказы. Изд. 3-е. Ц. 1 р. 20 к.
Соколов-Микитов, И.—«Чижикова лавра», расск. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 50 к.
Тверяк, А.—«У лесного озера», повести и рассказы. Ц. 1 р. 65 к.
Тренев, К.— «Любовь Яровая», «Пугачевщина», пьесы. Полные тексты постановок Госуд. Акад. **Малого и Художественного** театров с художественными фотографиями. Ц. 1 р. 80 к.
Тренев, К.—«Батраки», рассказы. Ц. 1 р. 40 к.
Хаит, Д.—«Бурьян», повесть. Ц. 55 к.
Хаит, Д.—«Кровь», повести. Ц. 1 р. 30 к.
Чапыгин, А.—«Плаун-Цвет», рассказы. Ц. 1 р. 15 к.
Ширяев, П.—«Цикута», рассказы. Ц. 1 р. 20 к.
Яблочков, Г.—«Товарищ Полетаев», рассказ. Ц. 40 к.
Яковлев, А.—«Повольники», рассказы, изд. 3-е. Ц. 1 р.
Яковлев, А.—«Без берегов», рассказы, изд. 3-е. Ц. 1 р. 60 к.
Яковлев, А.—«Счастье», повести и рассказы, изд. 3-е. Ц. 1 р. 50 к.
Яковлев, А.—«Лесная тайна», рассказы. Ц. 90 к.
Яковлев, А.—«Победитель», роман. Ц. 1 р. 80 к.





3 2000 000 987 851
PG3470
.S6
1928
v.1
DO NOT REMOVE
SLIP FROM POCKET

